



Книга издана при поддержке Фонда Ави Хай
и Чейс Фэмили Фаундейшн



проза еврейской жизни

Primo Levi
Il sistema
periodico

Примо Леви Периодическая система

*Перевод с итальянского
Елены Дмитриевой
и Ирины Шубиной*



Москва
«Текст»
2008

УДК 821.131.1
ББК 84(4Ита)
Л36

Серия основана в 2005 году

Оформление серии А.Бондаренко

Первое издание на русском языке

ISBN 978-5-7516-0663-9

© 1975 e 1994 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

Prima edizione «Supercoralli nuova serie» 1975

© «Текст», издание на русском языке, 2008

© Фонд Ави Хай, 2008

Ибергекумене цорес из гут цу дерцейлн.
(О минувших несчастьях рассказывать легко.)

АРГОН

В воздухе, которым мы дышим, есть так называемые инертные газы. Их греческие научные названия звучат в переводе не совсем обычно: «новый», «скрытый», «бесполезный», «чужой». Они и в самом деле настолько инертны, настолько довольны условиями своего существования, что не участвуют ни в каких химических реакциях, не соединяются с другими элементами; это позволяло им на протяжении многих веков оставаться незамеченными. Лишь в тысяча девятьсот шестьдесят втором году одному терпеливому химику после долгих хитроумных опытов удалось заставить ксенон (чужой) образовать устойчивое соединение с жадным и живучим фтором. Значение этого события оказалось так велико, что химику присудили Нобелевскую премию. Инертные газы называют также благородными, и в связи с этим возникает вопрос: действительно ли все благородные инертны и все инертные благородны? Есть у них и третье название — редкие, хотя, если взять, к примеру, аргон (бесполезный), его содержание в воздухе

весьма внушительно: один процент, что в двадцать—тридцать раз больше содержания углекислого газа, без которого ни о какой жизни на нашей планете и речи быть не могло.

То немного, что я знаю о своих предках, роднит их с этими газами. Не все они проявляли инертность, потому что не могли себе такого позволить; скорее наоборот, они были, должны были быть достаточно активными, чтобы зарабатывать на жизнь, да и общепринятые моральные устои утверждали: «кто не работает, тот не ест». Но в глубине души они наверняка были инертны, потому что не проявляли тяги ни к отвлеченному умствованию, ни к едким словесным баталиям, ни к утонченным и бесплодным философским дискуссиям. И не случайно при каждом повороте судьбы, а их было немало, они сохраняли равновесие, исполненную достоинства сдержанность, добровольно (или вынужденно) держались в стороне от главного течения реки жизни. Благородные, инертные, редкие. По сравнению с историями известных еврейских общин Италии и Европы их история очень бедная. Судя по всему, они попали в Пьемонт около тысяча пятисотого года из Испании через Прованс, о чем свидетельствует топонимическое происхождение их фамилий: Бедарида от Бедарридес, Момильяно от Монтмельян, Сегре (приток реки Эбро, протекающей на северо-востоке Испании в провинции Лерида), Кавальон от Кавай-

он, Мильяу от Мийо; а название городка Лунель в дельте Роны между Монпелье и Нимом, переведенное на еврейский, легло в основу еврейско-пьемонтской «лунной» фамилии Ярак.

Возможно, по причине того, что в Турине их не приняли или приняли плохо, они осели в сельских районах Южного Пьемонта, занялись шелководством, но даже в самые благоприятные периоды не выбивались из нужды. Никогда их особенно не любили, впрочем, как и не ненавидели, сведений о жестоких гонениях нет, хотя стена подозрений, необъяснимой враждебности и насмешек на самом деле продолжала отделять их от остального населения даже спустя несколько десятилетий после эмансипации евреев в тысяча восемьсот сорок восьмом году и последовавшего за ней разрешения селиться в городах. Как рассказывал мой отец, чье детство прошло в городке Бене Ваджиенна, его ровесники после школы потешались над ним, правда беззлобно, помахивая зажатым в кулаке краем куртки и скандируя: «Свиные уши, ослиные уши евреи особенно любят кушать». Про уши — это была их собственная фантазия, зато сам жест кощунственно пародировал приветствие, каким обмениваются в синагоге набожные евреи, сменяя друг друга во время чтения Библии: каждый демонстрирует край своей молитвенной накидки с кистями, количество, длина и форма которых строго предписаны ритуалом и имеют религиозно-мистический смысл.

Само собой разумеется, что дети, дразнившие отца, о происхождении этого жеста ничего не знали. Мимолетно замечу, что надругательство над молитвенными накидками столь же старо, как и антисемитизм: из этих накидок, отобранных у депортированных, эсэсовцы в лагере придумали шить кальсоны и распределять их потом среди узников-евреев.

Как обычно происходит, отторжение было взаимным. Меньшинство, в свою очередь, воздвигло оборонительный барьер против христианского большинства, неевреев (*гуйим*)*, необрезанных (*нарелим*), и попыталось воспроизвести на провинциальной сцене с мирными буколическими декорациями библейскую эпопею об избранном народе. Из-за этой глубокой разобщенности наши дяди и тети — мудрые, пропахшие табаком бородастые патриархи и великие хранительницы домашнего очага, теряя присущее им чувство добродушного юмора, с гордостью говорили про себя: «Мы — народ Израиля».

Что касается самих слов «дядя» (*барба*) и «тетя» (*манья*)**, надо сразу сказать, что они имеют расширительное толкование: так мы называем всех родственников пожилого возраста, даже самых даль-

* Еврейские слова в книге даются на пьемонтском диалекте. (Здесь и далее примеч. перев.)

** *Барба* (дядя) переводится как «борода», а *манья* (тетя) как «великая».

них, а поскольку все или почти все пожилые люди общины в далеком прошлом нам родня, то получается, что у нас огромное количество дядюшек и тетушек. Когда дяди и тети достигали преклонного возраста (а такое случалось сплошь и рядом, ведь мы долгожители, начиная с Ноя), атрибутивное *барба* и уважительное *манья* срастались с именем, причем подчас уменьшительным, и благодаря необъяснимому фонетическому созвучию еврейского языка и пьемонтского диалекта постепенно стали возникать сложные и необычные именные конструкции, которые передавали из поколения в поколение память о наших далеких предках. Так появились Барбайоту (дядя Илия), Барбасакин (дядя Исаак), Маньяйета (тетя Мария), Барбамуйсин (дядя Моисей, который по легенде велел зубодеру вырвать ему два передних резца, чтобы крепче сжимать трубку), Барбазмелин (дядя Самуил), Маньявигая (тетя Абигайле, которая, торопясь из Карманьолы на свою свадьбу в Салуццо, верхом на белом муле переехала замерзшую реку По), Маньяфуринья (тетя Дцефора, по-еврейски — Циппора, что значит «птица», замечательное имя). К еще более далеким временам следует отнести дедушку Сакобу, который, съездив в Англию за тканями, стал носить одежду «в клеточку», и его брата Барбапартина (до сих пор очень распространенное имя в память о первой эфемерной эмансипации, пожалованной евреям Наполеоном). Этот Барбапар-

тин лишился права называться дядей, поскольку Господь, да будут благословенны Его дела, послал ему такую невыносимую жену, что он, стараясь держаться от нее подальше, крестился, стал монахом и уехал миссионером в Китай.

Бабушка Бимба отличалась красотой, носила боа из страусовых перьев и была баронессой. Титул ей и ее семье пожаловал Наполеон за то, что они ссудили его деньгами, дали ему *манод*. Барбарунин был высокий, крепкий и придерживался радикальных взглядов. Он приехал в Турин из Фоссано и перепробовал много профессий. Его взяли в театр Кариньяно статистом для участия в «Доне Карлосе», и он написал своим родителям, чтобы те приезжали на премьеру. Дядя Натан и тетя Аллегра приехали, сели в ложу, и, когда поднялся занавес и мать увидела своего сына вооруженным, как какого-нибудь филистимлянина, она закричала во весь голос: «Арон! Что ты делаешь! Сейчас же брось саблю!»

Барбамиклин был дурачком. В Акви к нему относились хорошо, помогали, чем могли, потому что дурачки — Божьи дети, и большой грех назвать безобидного дурачка *рака**. Вместо этого его стали называть Пьянтабибини (сажалщик индюшек). Это случилось после того, как один безбожник, чтобы поиздеваться, убедил его, будто индюшек (*биби-*

* Пустой человек (*иврит*).

ни) сажают точно так же, как фруктовые деревья, закапывая в землю их перья, и потом они висят на ветках точно персики. Любопытно, что индюшки занимают важное место в шутовском семейном фольклоре. Возможно, потому, что эта хвастливая, неуклюжая холерическая птица, будучи по характеру антиподом моим предкам, только на то и годилась, чтобы служить посмешищем, но есть и более простое объяснение: на Пасху было принято готовить котлеты из индейки, это была почти традиция. Дядя Пачифико тоже выкармливал индюшку и очень к ней привязался. В доме напротив него жил синьор Латтес, музыкант. Индюшка своим квохтанием мешала синьору Латтесу, и тот попросил дядю Пачифико ее утихомирить. Дядя ему ответил: «Ваше поручение будет исполнено. Синьора индюшка, замолчите!»

Дядя Габриеле был раввином, поэтому все называли его «дядя Наш Учитель» (Барба Морену). Будучи старым и почти слепым, он шел пешком под палящим солнцем из Верцуоло в Салуццо. Мимо проезжала повозка, он остановил ее и попросил его подвезти. По дороге из разговора с возницей выяснилось, что повозка эта погребальная и везет на кладбище усопшую христианку. Скверное дело, ибо в Книге Иезекииля (44: 25—26) сказано, что не должно священнику подходить к мертвому человеку, дабы не сделаться нечистым: «...только ради от-

ца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого, еще семь дней надлежит отсчитать ему». Дядя Наш Учитель вскочил, как ужаленный, и закричал: «Я еду с мертвой! Возница, стой!»

Ньюр* Грассиадью и ньюр Кулумбу были друзья-враги; согласно легенде, они, сколько себя помнили, жили окна в окна по две стороны узкого переуллка городка Манкальво. Ньюр Грассиадью был богач и масон. Он немного стыдился того, что он еврей, и женился на *гуйе* (христианке) с длинными до пят светлыми волосами, которая наставляла ему рога. Эта *гуйя*, хоть и была *гуйей*, осталась в семейной памяти Маньей Аузилией, что указывает на определенную степень признания со стороны потомков. Ее отец, морской капитан, привез из Гвианы в подарок Ньюру Грассиадью большого разноцветного попугая, говорившего по-латыни: «Познай самого себя». Ньюр Кулумбу был бедняк и разделял революционные взгляды Мадзини**. Когда появился попугай, он купил облезлую ворону и научил ее говорить. Стоило попугаю произнести: «*Nosce te ipsum*», ворона тут

* «Ньюр» сокращенное от «синьор» — господин.

** Джузеппе Мадзини (1805—1875) — вождь итальянского Рисорджименто — движения за национальное освобождение и объединение Италии.

же отвечала ему на пьемонтском диалекте: «*Fate furb*» (не дури).

Что касается диалекта, то и светловолосая *гуйя* Ньюра Грассиадью, и *манод* бабушки Бимбы, и *хаверта*, о которой сейчас пойдет речь, нуждаются в пояснении. Слово *хаверта* — еврейского происхождения и по своему значению очень емкое. Собственно говоря, это производное женского рода от *хавер* — «спутник», и переводится как «служанка», но при этом имеет характерную окраску: *хаверта* — женщина низкого происхождения, другого вероисповедания и других обычаев, которую приходится терпеть под своей крышей. По устоявшимся представлениям она не очень аккуратна, не очень честна, постоянно все вынюхивает и подслушивает разговоры хозяев. Последние поэтому вынуждены переходить в ее присутствии на особый жаргон, к которому наряду с упомянутыми выше словами относится и само слово *хаверта*. Теперь этот жаргон почти полностью исчез. Но поколение наших бабушек и дедушек еще употребляло несколько сотен слов и выражений, имевших еврейские корни и пьемонтские флексии. По большому счету основной целью этого лукавого жаргона было стремление утаить, скрыть, остаться непонятым, иметь возможность говорить о *гуйим* в присутствии самих *гуйим* и, живя в навязанных условиях запретов и угнетения, не бояться отвечать

оскорблениями на оскорбления и посылать проклятья.

Место еврейско-пьемонтского жаргона среди других жаргонов и диалектов было незначительно, поскольку говоривших на нем было всего несколько тысяч человек, зато в человеческом плане он представлял большой интерес, как всякий групповой и недолговечный язык. Он обладал поразительным комическим эффектом, возникавшим из-за контраста между простоватым и немногословным пьемонтским диалектом, на котором почти не пишут, разве что на спор, и священным, торжественным библейским языком, геологическим языком праотцев, отполированным тысячелетиями, как русла ледников. Этот контраст был, в свою очередь, отражением особенностей, связанных с существованием рассеянной среди *гуйим* еврейской диаспоры (осознающей свое божественное призвание и терпящей повседневные лишения в изгнании), а также, поскольку человек — это кентавр, с заложенными в его природе противоречиями плоти и духа, тленности тела и бессмертия души. Еврейский народ, долго и мучительно страдавший после рассеяния от этих противоречий, обретал постепенно мудрость, а вместе с мудростью и способность смеяться, которой не было у библейских пророков, и подтверждение тому — речь наших отцов, живших на пьемонтской земле. Более ограниченная в своих возможностях, чем идиш, она не ме-

нее насмешлива, и мне хочется вспомнить ее, пока она не исчезла окончательно. Этот скептический и добродушный жаргон лишь при поверхностном знакомстве может показаться богохульным; на самом деле он полон примерами искренней любви и почтения к Богу, называемому *Нусьур*, *Адонаи Элоену* или *Кадос Баруху*.

Не от хорошей жизни моих предков в их словаре нет слов «солнце», «человек», «день», «город», зато есть слова «ночь», «прятаться», «деньги», «тюрьма», «красть», «убивать», «сон». Последнее (*бахалом*) употреблялось почти исключительно в значении «ночное видение», что придавало всякому утверждению иронический оттенок и словно бы намекало собеседнику, что сказанное следует понимать наоборот. Существует значительное число уничижительных слов, которые можно было услышать, допустим, в христианской лавке, когда муж с женой обсуждали между собой, стоит покупать какую-то вещь или не стоит. Например, словом *сарод* (множественное число от еврейского *цара* — горе) называли нестоящий товар или никчемного человека; было и изящное уменьшительное *сарудин*, и безжалостное *сарод е сенса манод* (нехороша и без гроша) — выражение, употребляемое свахами по отношению к некрасивым бесприданницам, а также абстрактное *хазируд* (свинство) от *хазир* (свинья). В еврейском языке существует окончание «ут», которое служит для обра-

зования собирательных существительных типа *малхут* (царство) от *мелех* (царь), но оно полностью лишено укрепившегося в жаргоне крайне уничижительного оттенка. Другой характерный пример употребления подобных слов лавочниками и продавцами в адрес клиентов: в Пьемонте в девятнадцатом веке тканями часто торговали евреи, благодаря чему возник профессиональный поджаргон, который от продавцов, не обязательно евреев, ставших, в свою очередь, хозяевами, распространялся по другим лавкам и магазинам этой отрасли торговли и живет до сих пор, причем люди часто и не подозревают, что используют еврейские слова, и очень удивляются, когда случайно об этом узнают. До сих пор можно услышать выражение *на веста а киним* (костюм с мушками); *киним* — в переводе с еврейского — вши, те самые мошки из третьей казни египетской, которую вспоминают и о которой поют во время еврейской пасхальной службы.

Имелся и неплохой ассортимент малопристойных слов, употреблявшихся не только в своем прямом смысловом значении, например, при детях, чтобы те не могли понять, о чем говорят взрослые, но и как ругательства: в последнем случае перед соответствующими итальянскими и пьемонтскими выражениями у них было упомянутое уже преимущество оставаться непонятыми, а также помогать говорящему облегчать душу, не оскверняя языка.

Большой интерес для исследователя обычаев наверняка должна представлять группа слов, имеющих отношение к католической вере. Их еврейские корни подверглись основательным изменениям, и на то были веские причины: во-первых, требовалось хранить в строгой тайне значение этих слов, в противном случае легко было навлечь на себя опасное обвинение идолопоклонников в богохульстве; во-вторых, целью коверканья или даже замены слова было уменьшить, а то и полностью аннулировать заложенную в него магически-сакральную силу и таким образом лишить его сверхъестественной власти. Последнее подтверждается замещением во всех языках слова «дьявол» множеством нарицательных имен аллюзивного, эвфемистического характера, позволяющих упоминать сатану, не называя по имени. Церковь (католическая) обозначалась словом *тунева*, происхождение которого я не берусь объяснить, возможно, еврейское оно только по звучанию; зато синагога со скромной гордостью звалась просто *скола* (школа, где учат и воспитывают); раввин назывался не привычным словом *рабби* (ребе) или *рабену* (наш ребе), но *морену* (наш учитель) или *хахам* (ученый). За стены такой «школы» ненавистный языческий *хальтрум* не мог проникнуть. *Хальтрум* или *хантрум* — католическая вера с ее лицемерными обрядами, неприемлемая из-за своего политеизма и особенно из-за поклонения изображениям и их обожествления

(«Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу... Не поклоняйся им...» — *Исход, 20: 3—5*). Этимология и этого, полного отвращения к идолопоклонникам слова не ясна, возможно, она не еврейская; но в других еврейско-итальянских жаргонах есть прилагательное *хальто*, как раз в значении «лицемерный», и употребляется оно в основном применительно к христианам, поклоняющимся изображениям. Мадонну называли *ахисса*, в переводе просто «женщина»; но совсем загадочно и необъяснимо происхождение слова *Одо*, которым, если уж никак нельзя было без него обойтись, поминали Христа, понизив при этом голос и со страхом озираясь по сторонам; о Христе следовало вообще поменьше говорить, потому что миф о народе-богоубийце очень живуч.

Другая группа слов так или иначе была связана с обрядами и священными книгами, которые евреи в девятнадцатом веке читали по-еврейски довольно бегло и неплохо понимали. Но в жаргоне значения произвольно менялись, а область употребления расширялась. Глаголу *шафох*, который означает «пролить» и используется в 78-м псалме («Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают»), наши прародительницы придали домашний смысл; вместо того чтобы говорить: «Ребенка рвет», они пользо-

вались деликатным выражением *фе сефох*, он делает *сефох*. Известное по восхитительному и таинственному второму стиху Книги Бытия, в котором сказано, что *ветер Божий веял над лицом вод**, слово *руах* (множественное число *руход*) породило выражение *тире нруах* — «пускать ветры», физиологический смысл которого свидетельствует о близких, прямо-таки семейных отношениях, сложившихся с библейских времен у избранного народа со своим создателем. Примером иного употребления слова, на этот раз в доверительно-супружеском контексте, может служить обращение тети Регины к дяде Давиду, когда они сидят в кафе Фьорио на улице По: «Давидин, помаши тростью, разгони ветры (*руход*), а то дует». Что касается трости, в те времена она была признаком социального положения, как сегодня билет первого класса для путешествующего по железной дороге; у моего отца, например, было две трости: одна бамбуковая, на каждый день, и вторая парадная, из малаккского тростника, с оправленной серебром ручкой. Трость служила отцу не для того, чтобы на нее опираться (в этом никакой нужды не было), но чтобы весело помахать ею и отгонять надоедливых собак. Одним словом, заменяла скипетр, отличающий монарха от черни.

* Перевод дословный, не совпадающий с русским каноническим текстом («...и Дух Божий носился над водою»).

Бераха — это благословение, хвала Господу. Верующему еврею больше ста раз на дню представляется случай восславить Всевышнего, и делает он это с великой радостью, потому что, восхваляя и благодаря Его за добрые дела, он вступает с Ним в диалог, продолжающийся уже не одно тысячелетие. Дедушка Леунин был моим прадедушкой, жил в Казале Монферрато и страдал плоскостопием. Проулок перед его домом был весь в колдобинах, и дедушке Леунину трудно было по нему ходить. Однажды он вышел из дома и увидел, что проулок вымощен заново. От чистого сердца он воскликнул: «Хвала этим *гуйим* за то, что вымостили дорогу!» В качестве проклятья использовалось нелепое словосочетание *меда мешуна* (дословно «странная смерть», а на самом деле калька с пьемонтского «чтоб тебе сдохнуть»). Тому же дедушке Леунину приписывается следующее загадочное ругательство: «Чтоб к тебе странная смерть пришла в виде зонтика!»

Не могу я не вспомнить здесь и самого близкого мне во времени и пространстве дядю, настоящего моего дядю по имени Барбарикку. Он остался в памяти живым человеком, а не *«figé dans un'attitude»**, как те мифические персонажи, о которых я до сих пор рассказывал. Ему-то точно подходит сравнение с инертными газами, о которых шла речь в начале.

* Застывшим в одной позе (фр.).

Дядя Барбаруку изучал медицину и стал хорошим врачом, но ему не нравился мир. То есть ему нравились люди, особенно женщины, луга, небо, но не нравились усилия, грохочущие повозки, забота о карьере и хлебе насущном, обязательства, распорядок, сроки — ничто из того, что отличало напряженную жизнь города Казале Монферрато в тысяча восемьсот девяностом году. Он хотел бежать, но был слишком ленив, чтобы осуществить свой план. Друзья и женщина, которая его любила и относилась к нему с терпеливой благожелательностью, заставили его принять участие в конкурсе на должность судового врача трансатлантического лайнера, курсирующего между Генуей и Нью-Йорком. Конкурс он выиграл, сходил в один рейс, но по возвращении в Геную уволился, потому что жизнь в Америке — *трон бурдель*, «сплошной бардак». С тех пор он поселился в Турине. У него были разные женщины, но все хотели его переделать и женить на себе, однако вступление в брак, как и открытие собственного врачебного кабинета, требующего постоянных занятий профессией, он считал делом слишком обременительным. Я помню его с конца двадцатых годов уже стариком — тихим, скрюченным, неопрятным, почти слепым; его сожительницей была огромная вульгарная *гуйя*, от которой он периодически и довольно вяло порывался освободиться, называл сумасшедшей (*сутья*), ослицей (*хаморта*), большой скотиной (*гран бехем-*

ма), но беззлобно и с явным оттенком необъяснимой нежности. Эта *гуйя* даже делала попытки его крестить (*самде*, дословно «погубить»), но он не соглашался, причем не по религиозным соображениям, а из-за лени и апатии.

Братья и сестры Барбарiku, которых у него было не меньше дюжины, называли его сожительницу *Манья Мурфина*; первое слово звучало издевательски, поскольку, будучи христианкой и к тому же бездетной, бедняжка могла называться тетей разве что в противоположном смысле, то есть не-тетей, решительно исключенной из семьи; второе — жестоко, в нем слышался злой и несправедливый, скорее всего, намек на ее пристрастие к морфию и на то, что она использовала для его добывания бланки Барбарiku.

Жили они в запущенной, вечно неприбранной мансарде в Борго Ванкилья. Дядя был прекрасным мудрым врачом, замечательным диагностом, но все дни проводил, лежа на постели за чтением книг и старых журналов. Он читал неустанно, все, что попадалось под руку, запоминая прочитанное. Близорукость принуждала его держать книгу совсем близко к толстым, как доньшки стаканов, стеклам очков. С постели он вставал, только когда его звали к больному, впрочем, это случалось нередко, поскольку денег за свой труд он почти не брал. Его пациентами были люди с бедных окраин, которые в качестве вознагра-

раждения приносили ему кто полдюжины яиц, кто пучок салата со своего огорода, а кто и пару стоптанной обуви. Не имея денег на трамвай, к больным он ходил пешком. Если по пути встречалась девушка, он из-за своей близорукости приближался к ней почти вплотную и, обходя со всех сторон, разглядывал ее, онемевшую от удивления. Ел он мало и вообще был очень неприхотлив. Умер в девяносто с лишним лет, уйдя из жизни скромно и достойно.

В стремлении отстраниться от мира бабушка Фина напоминала Барбару. У нее было три сестры, и всех их звали точно так же. Своеобразный способ называть детей одинаково объяснялся тем, что девочек выкармливала кормилица из Бра по имени Дельфина, которой нравилось называть своим именем всех подопечных малышей. Бабушка Фина жила в Карманьоле, в квартире на втором этаже и изумительно вязала крючком. В шестьдесят восемь лет она стала чувствовать легкое недомогание (*каудана*), которым имели обыкновение страдать тогдашние дамы, а теперешние почему-то уже не страдают. С тех пор в течение двадцати лет, до самой своей смерти, она уже не выходила из дома. По субботам со своего балкончика, заставленного горшками с геранями, хрупкая и бледная, она махала рукой знакомым, возвращавшимся из «школы». Но если верить рассказам, в молодости она была совсем другой: однажды ее муж привел в дом всеми почитаемого ученого раввина

Монкальво, и она накормила его без предупреждения своими знаменитыми свиными отбивными (*кутлетта д'хазир*), поскольку ничего другого в доме не оказалось. Ее брат Барбарафлин (дядя Рафаэль), известный до получения титула «барба» под именем «сын Моисея из Челина», достигнув солидного возраста и заработав много *манод* на военных поставках, влюбился в красавицу из Гассино по имени Дольче Валабрега. Не решаясь признаться в любви открыто, он писал ей любовные письма, которые не отправлял и на которые сам же писал страстные ответы.

Также и у Маркина, экс-дяди, была несчастливая любовная история. Он влюбился в Сусанну (по-еврейски «лилия»), женщину благочестивую и энергичную, хранительницу секрета приготовления гусиной копченой колбасы по старинному рецепту. В качестве оболочки для этой колбасы используется шея птицы, поэтому ничего удивительного, что *лассон а-кодеш* («святой язык», а точнее сказать, еврейско-пьемонтский жаргон, о котором мы тут рассуждаем) сохранил целых три синонима слова «шея»: первый — *махане* — нейтральный, употребляющийся в своем основном значении, второй — *савар* — только в идиоматическом выражении *а рута дзавар* (сломя шею), и третий — *ханек* — самый многозначный, связанный с жизненно важным органом — горлом, способным засориться, закупориться, или его

можно перерезать; это слово встречается в ругательствах, типа «чтоб ты подавился» (*k'at resta ant l'ханек*), а глагол *ханикессе* значит «повеситься». Маркин работал у Сусанны: помогал ей на ее скрытой от посторонних глаз фабрике-кухне, продавал в лавке готовую колбасу, лежавшую на полках вперемешку с обрядовыми предметами, амулетами и молитвенниками. Сусанна его любовь отвергла, и он гадко отомстил ей, продав рецепт приготовления колбасы одному *гой*. Судя по всему, этот *гой* не осознал всей ценности обретенного секрета, потому что после смерти Сусанны (а умерла она в незапамятные времена) уже невозможно было купить продукт, изготовленный в старых традициях и достойный именовать копченой гусиной колбасой. За свой омерзительный поступок дядя Маркин потерял право называться дядей.

Самым далеким из всех, инертным из инертных, окутанным невероятными легендами и превращенным потомками в застывшее изваяние, был Барбабрамин из Къери, дядя моей бабушки по материнской линии. Он разбогател, будучи еще совсем молодым, скупая у аристократов их имения по всей округе, от Къери до Астиджано. В расчете на наследство его родственники растранижирили все свои средства на приемы, балы и поездки в Париж. Случилось так, что мать Барбабрамина тетя Милка (царица) заболела и после долгих препирательств с мужем дала наконец

согласие на то, чтобы взять в дом *хаверту* (служанку), о которой до сих пор и слышать не хотела: что-то ей подсказывало, что добром это не кончится. Плохое предчувствие оправдалось: Барбабрамин сразу же влюбился в эту *хаверту*, возможно, потому, что она мало походила на тех святых женщин, которые его окружали.

Имя ее до нас не дошло, но ее приметы время сохранило: цветущая, красивая, и еще у нее были потрясающие *халавьод* (груды). (Такого слова в книжном еврейском нет, есть *халав* в единственном значении — «молоко».) Она, естественно, была *гуйя*, нахальная девица, читать и писать не умела, зато готовила так, что пальчики оближешь. По крестьянской привычке по дому она бегала босиком. Во все это дядя и влюбился — в ее икры, в развязную манеру говорить и в еду, которую она готовила. Девушке он не сказал ни слова, но отцу с матерью заявил, что хочет на ней жениться. Разъяренные родители сказали нет, тогда он слег в постель. И лежал двадцать два года.

О том, чем Барбабрамин занимался в течение этих лет, мнения расходятся, но с уверенностью можно сказать, что большую часть времени он проспал, в результате чего его экономическое состояние пришло в упадок: он перестал «стричь купоны» с ценных бумаг и доверил управление своими именьями одному *мамзеру* (выродку), который продал их за бесце-

нок подставному лицу. Как тетя Милка и предчувствовала, Барбабрамин не только разорился сам, но оставил ни с чем многочисленных родственников, передающих из поколения в поколение память об этом горестном факте.

Рассказывали, что он много читал, считался ученым, мудрым и справедливым и даже принимал у своей постели депутации уважаемых людей города Къери, приходивших за советом или с просьбой рассудить какой-нибудь спор. Еще рассказывали, что та самая *хаверта* тоже знала дорогу к этой постели и что дядя, по крайней мере в первые годы, нарушал свое добровольное затворничество по ночам, спускаясь в кафе поиграть в бильярд. В постели тем не менее он провел без малого четверть века, и, когда тетя Милка и дядя Саломон умерли, он женился на *хаверте* и забрал ее в постель уже окончательно: к этому времени он порядком ослабел и ноги его уже не слушались. Умер он глубоким стариком в бедности, но в ореоле славы и в душевном спокойствии. Случилось это в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году.

Сусанна (та, что изготовляла гусиную копченую колбасу) была двоюродной сестрой бабушки Мальи, моей бабушки по отцовской линии, оставшейся юной модницей в кокетливых позах на нескольких фотографиях конца шестидесятых годов девятнадцатого века, а в моей ранней детской памяти — неаккуратной,

сморщенной, раздражительной и совершенно глухой старухой. До сих пор шкафы со своих верхних полок выдают время от времени бесценные реликвии: черные кружевные шали, украшенные переливающимися блестками, изысканные шелковые вышивки, муфту из куницы, изъеденную молью четырех поколений, массивные серебряные приборы с ее инициалами. Создается впечатление, что беспокойная душа бабушки Мальи до сих пор посещает наш дом.

В расцвете лет ее называли *страссакёр* (разбивающая сердца). Она очень быстро овдовела, и ходили слухи, что мой дедушка от отчаяния, что жена ему изменяет, покончил с собой. Своим сыновьям она особого внимания не уделяла, хотя выучила всех троих, и, будучи уже не первой молодости, вышла замуж за старого врача-христианина — внушительного вида молчаливого бородача. С тех пор она резко изменилась: стала скупой и сумасбродной, хотя в молодости отличалась королевской расточительностью, свойственной красивым избалованным женщинам. С годами ее любовь к близким (которая и прежде не была особенно горячей) иссякла совсем. Жила она со своим доктором на улице По, в темной неудобной квартире, отапливаемой зимой одной-единственной печкой Франклина, и ничего не выбрасывала (а вдруг понадобится?) — ни сырной корки, ни одной станиолевой бумажки от шоколадных конфет, из которых она делала серебряные шарики и отправляла в

далекие католические миссии в подарок «освобожденным* негритятам». Боясь, возможно, ошибиться с окончательным выбором, она по очереди посещала синагогу на улице По и церковь Святого Октавия и, что совсем уж кощунственно, ходила к исповеди. Умерла она в 1928 году, когда ей было уже за восемьдесят, в окружении таких же, как она, выживших из ума и одетых в черное соседок с растрепанными волосами, среди которых за главную была мегера по имени мадам Шилимберг. Несмотря на мучительные боли, вызванные отказом почек, бабушка Малья до своего последнего вздоха ни на секунду не выпускала эту Шилимберг из поля зрения, боясь, как бы та не нашла *мафтех* (ключ), спрятанный под матрацем, и не украла *манод и хафассим* (драгоценности), которые, впрочем, оказались фальшивыми.

После ее смерти сыновья и невестки в течение нескольких недель с ужасом и отвращением разбирали хлам, которым был завален дом. Бабушка Малья хранила все, не делая различия между элегантным нарядом и перелицованным старьем. Из внушительных ореховых шкафов выползали полчища побеспокоенных клопов, извлекались на свет ни разу не использованные и протертые почти до прозрачной тонкости льняные простыни, занавески и покрывала из двустороннего дамаска, коллекция чуел колибри, которые

* Обращенным в христианство.

рассыпались в прах при первом же прикосновении; в кухне были обнаружены сотни винных бутылок дорогих марок, содержимое которых давно превратилось в уксус. Еще были обнаружены восемь ненадеванных пальто доктора, напичканных нафталином, и единственное, которое она разрешала ему носить, латаное-перелатаное, с залоснившимся до блеска воротником и масонским знаком в кармане.

Я почти ничего о ней не помню; отец даже за глаза называл ее *tatan* и имел обыкновение говорить про нее в насмешливом тоне, слегка смягченном сыновней жалостью. Каждое воскресное утро он водил меня к ней пешком, и пока мы не спеша шли по улице По, то и дело останавливался, чтобы погладить встречных кошек, понюхать трюфели на лотках, перелистать старые книги у букинистов. Мой отец был инженер, из его карманов вечно торчали книги, его знали все колбасники, потому что, покупая ветчину, он всегда проверял на своей логарифмической линейке, не обсчитали ли его. Нельзя сказать, что ветчину отец покупал с легким сердцем; он испытывал неловкость, нарушая запрет, даже страх, не религиозный, а скорее суеверный, однако настолько любил ее, что, увидев в витрине, каждый раз поддавался искушению, правда тяжело при этом вздыхая, бормоча вполголоса проклятья и скосив взгляд на меня, словно боялся моего осуждения или рассчитывал на поддержку.

Мы входили в сумрачный вестибюль дома на улице По, отец звонил в колокольчик и, когда бабушка открывала, кричал ей в ухо: «Он первый ученик в классе». Бабушка Малья с явной неохотой впускала нас в квартиру и вела по пыльным заброшенным комнатам, одна из которых, со всякими страшными инструментами, была кабинетом доктора, в который он уже редко заглядывал. Сам доктор почти никогда к нам не выходил, и меня это радовало, потому что я слышал, как папа рассказывал маме про детей-заик, которых к нему приводили, и про то, как он подрезал им ножницами уздечку под языком. Когда мы оказывались в более-менее прибранной гостиной, бабушка доставала из укромного места всегда одну и ту же коробку с шоколадными конфетами и давала мне одну. Конфета была заплесневелая, и я, стыдясь, прятал ее в карман.

ВОДОРОД

Это было в январе. Энрико пришел за мной после обеда и сказал, что его брат уехал в горы и оставил ему ключи от лаборатории. Я в секунду оделся и выскочил на улицу.

По дороге стало ясно, что ключи брат оставил не совсем ему: это был эвфемизм, информационный код, понятный только нам, знавшим, о чем речь. На самом деле, уезжая, брат не взял ключи с собой, не спрятал их, как имел обыкновение делать, и даже не напомнил Энрико о запрете ими воспользоваться и о наказании, если запрет будет нарушен. Как бы там ни было, но после месяцев ожидания ключи попали к нам в руки, и мы не собирались упустить такой случай.

Нам было по шестнадцать лет, и я был увлечен своей дружбой с Энрико. Он не отличался особой активностью, его школьные успехи оставляли желать лучшего, но было в нем что-то особенное, выделявшее его из всего класса. Спокойный, с упрямой волей, он добивался того, чего другие добиться не мог-

ли, и с не свойственной возрасту серьезностью задумывался о будущем. К нашим нескончаемым спорам о Платоне, Дарвине, а позже Бергсоне он относился скептически, но насмехаться над нами себе не позволял, со всеми был вежлив, не кичился физической силой и спортивными достижениями, никогда не врал. Он знал пределы своих возможностей, но ни разу я не слышал, чтобы он сказал о себе (как все мы говорим ради красного словца или для самоутверждения): «Какой же я идиот!»

Фантазировать он не умел; нет, он тоже мечтал, как все мы, но его мечты были разумны, конкретны, осуществимы, всегда из области реального, — ничего романтического, запредельного. Ему незнакомы были мои мучительные метания со взлетами до небес (успехи в школе или в спорте, новая дружба, зарождающаяся влюбленность) и падениями в пропасть (неудовлетворительные оценки, угрызения совести, чудовищное разочарование, когда то, что казалось вечным, незыблемым, таяло, как дым). Его цели всегда были достижимы: он мечтал перейти в следующий класс и терпеливо учил то, что его не интересовало; мечтал о микроскопе и купил его, продав гоночный велосипед; хотел прыгать с шестом и каждый вечер в течение целого года ходил в спортивный зал, не жалея себя, но и не калеча. Его целью было преодолеть планку на высоте три с половиной метра, и, когда он этой цели достиг, занятия сразу

бросил. Позже он возжелал одну женщину и добился ее; захотел денег, чтобы безбедно жить, и, отдав десять лет жизни скучной однообразной работе, свое желание осуществил.

У нас даже сомнений не было, что мы выберем своей профессией химию, но каждый из нас связывал с ней собственные ожидания и надежды. Энрико, естественно, надеялся достичь с ее помощью обеспеченного положения, я же думал совсем о другом: химия представлялась мне густым облаком (вроде того, что окутывало гору Синай), таящим в себе грозные силы, которые вырывались наружу ослепительными огненными вспышками. Как Моисей, я ждал, что это облако даст мне закон, упорядочит мою жизнь, жизнь вокруг меня и во всем мире. Мне уже надоели книги, хотя я и продолжал поглощать их с неослабевающей прозорливостью; я искал другой ключ к высоким истинам, такой ключ обязательно должен был быть, но я твердо знал, что из-за какого-то чудовищного заговора против меня и всего мира в школе мне этот ключ не найти. Там пичкали знаниями, которые я старательно пережевывал, но голод они не утоляли. Я смотрел, как набухают весной почки, как сверкает слюда в куске гранита, смотрел на свои руки и говорил себе: «Я и это узнаю, и все остальное, но *не по-ихнему*; я найду короткий путь, подберу отмычку, высажу двери». Разговоры на уроках о проблемах бытия, о познании мира наскучили

до тошноты; к чему это переливание из пустого в порожнее, когда все вокруг — и дерево старой скамейки, и солнечный шар над крышами, и цветочные пушинки в июньском воздухе — тайна, которая требует разгадки. Да всем философам, вместе взятым, не под силу понять полет такой пушинки, всем военным мира не под силу его воссоздать! Стыд и позор терять время, нужно искать новый путь!

Мы станем химиками, Энрико и я, нам хватит сил и ума, чтобы взять за горло эту постоянно меняющуюся материю, этого хитрого Протея; мы докопаемся до его самых глубинных тайн, положим конец его дурацким метаморфозам, не разгаданным ни Платоном, ни Августином, ни Фомой Аквинским, ни Гегелем, ни Кроче. Уж мы-то заставим его заговорить!

Упустить счастливую возможность, имея такую программу, мы не могли. Брат Энрико учился на химическом факультете и был загадочным персонажем, Энрико о нем не любил рассказывать; он оборудовал себе лабораторию в глубине двора где-то в узком кривом переулке, отходящем от площади Крочетта, который в геометрически распланированном Турине казался рудиментарным отростком, сохранившимся в процессе эволюции. Сама лаборатория тоже была похожа на рудимент; не в том смысле, что утратила свою функцию, а из-за крайней убогости: единственная облицованная плиткой стойка, около двадцати колб с реагентами, немного химической

посуды, много пыли и паутины, полутьма и жуткий холод. Всю дорогу мы спорили, чем лучше заняться, но, когда вошли в лабораторию и увидели «все это богатство», растерялись.

На самом деле причина нашей растерянности была серьезнее и глубже: мы почувствовали беспомощность и это была не только наша с Энрико беспомощность, но и всей той касты, к которой принадлежали наши семьи. Что мы умеем делать вот этими руками? Ничего или почти ничего. Женщины — другое дело, наши бабушки и матери работали руками без усталости: они умели шить, стирать, некоторые — играть на фортепьяно, писать акварелью, вышивать, делать себе прически. А наши отцы? А мы? У нас руки были грубые и в то же время изнеженные, ослабевшие, нечувствительные; они все больше утрачивали ловкость, деградировали. Не считая первых детских навыков, мы научились только одному — писать. Наши руки умели хвататься за ветки деревьев, на которые мы (Энрико и я) взбирались не только с мальчишеским азартом, а еще и с каким-то смутным, уходящим в родовые времена благоговейным восторгом, но они не знали торжественной тяжести молотка, концентрированной силы навсегда запретного для нас клинка, мудрой текстуры дерева, твердости железа и податливости свинца или меди. Человек — творец, но нас творцами не назовешь, и осознавать это было мучительно.

Лабораторное стекло завораживало, манило к себе. Прикасаться к нему опасно, ведь оно хрупкое и может разбиться, но, когда знакомишься с ним ближе, оказывается, что оно в своем роде уникально и таит массу загадок и сюрпризов. В этом его сходство с водой, тоже уникальным в своем роде веществом, но вода связана с человеком, вообще с жизнью, неотъемлема от нее, и ее уникальность спрятана под многообразными покровами привычной востребованности. Стекло же — продукт человеческой деятельности, и история его гораздо моложе. Оно и стало нашей первой жертвой или, точнее сказать, нашим противником. В лаборатории лежали стеклянные трубки разного диаметра и разной длины, покрытые слоем пыли. Мы зажгли горелку Бунзена и принялись за работу.

Согнуть трубку не составляло труда: достаточно было подержать ее над пламенем; через некоторое время пламя становилось желтым, а стекло начинало слабо светиться, в этот момент трубку можно было согнуть. Изгиб получался далеким от совершенства, но все-таки получался, трубке можно было придать желаемую форму. Не подтверждало ли это мысль Аристотеля о том, что форма образует из потенциального бытия — бытие реальное?

Таким же образом можно согнуть и медную, и свинцовую трубку, но только стеклянная, разогретая над пламенем горелки, обладала, как мы убеди-

лись, одной необычной способностью — она размягчалась, становилась податливой и, если растягивать ее за холодные концы в разные стороны, превращалась в тонкое волокно, настолько легкое, что поток теплого воздуха от горелки поднимал его вверх. Гибкое и тонкое, оно было похоже на шелковую нить. Куда же подевалась неуступчивая твердость холодного стекла? Значит, и шелк, и хлопок, если добиться их перехода в состояние, похожее на сплав, могут стать такими же твердыми, как стекло? Энрико рассказал мне, как в деревне его дедушки рыбаки использовали шелковичных червей: когда слепые, неуклюже цеплявшиеся за ветки толстые личинки уже были готовы к окукливанию, их снимали с дерева, разрывали пополам и вытягивали из них прочнейшую нить, которую использовали в качестве лески. Эта история, в правдивость которой я не очень поверил, вызвала у меня двойственное чувство: жестокое умерщвление шелковицы, настоящего чуда природы, ради пустякового дела заставило передернуться от отвращения, а сообразительность мифических рыбаков, додумавшихся до столь легкого способа добывания лески, привела в восторг.

Нам захотелось попробовать себя в стеклодувном деле, но оно оказалось совсем не простым. Запаяв один конец трубки и дую изо всех сил в другой, мы смогли выдуть шар, красивый, почти безупречной формы, но с очень тонкими стенками. Еще одно

усилие — и шар стал переливаться всеми цветами радуги, как мыльный пузырь, а это верный признак того, что он обречен. И действительно, раздался сухой хлопок, и шар лопнул, засыпав пол мелкими осколками, которые хрустели под ногами, как яичная скорлупа. В каком-то смысле мы были наказаны справедливо: стекло есть стекло и с ним не положено обращаться как с мыльной водой. В постигшей нас неудаче можно было с некоторой натяжкой найти сходство с известной басней Эзопа.

Промучившись целый час со стеклом, мы расстроились и устали. Глаза у нас воспалились, ноги замерзли, руки покрылись волдырями. К тому же опыты со стеклом — это не химия, а мы пришли сюда именно ради химии; наша цель была увидеть собственными глазами, воспроизвести собственными руками хотя бы одно из тех чудес, которые, если верить школьной «Химии» Сестини и Фунаро, ничего не стоит сотворить. Можно было приготовить, например, закись азота, которая в учебнике имела еще одно, более расхожее и менее научное название — веселящий газ. Хотелось проверить, правда ли он веселящий?

Закись азота готовится путем осторожного нагревания нитрата аммония, но его в лаборатории не оказалось; мы нашли только аммиак и азотную кислоту. Не имея возможности сделать точный количественный расчет, мы стали смешивать их, проверяя

лакмусом реакцию нейтрализации. Раствор быстро нагрелся, над ним поднялся густой белый дымок, но мы решили, что воду надо выпарить до конца. Вскоре лаборатория наполнилась удушливым газом, который никакого веселья у нас не вызывал, и мы, на всякий случай, прекратили опыт, потому что не знали, что может произойти, если даже осторожно нагревать взрывоопасную соль. Таким образом, и этот эксперимент нельзя было назвать ни удачным, ни увлекательным.

Я огляделся по сторонам и заметил в углу стойки батарейку. Электролиз воды, вот что мы сделаем! Опыт этот безопасный, я уже много раз проводил его дома, так что краснеть за него перед Энрико мне не придется.

Я взял стеклянную чашу, наполнил ее водой, добавил щепотку соли, поставил в нее вверх дном две пустых баночки из-под джема, нашел два медных провода в резиновой обмотке и подсоединил их одними концами к полюсам батарейки, а другие засунул в банки. От них начали подниматься еле заметные пузырьки. Хорошенько приглядевшись, можно было даже заметить, что от катода пузырьки поднимались в два раза быстрее, чем от анода. Я написал на доске уравнение и сказал Энрико, что в банках происходит именно то, что здесь написано, однако Энрико, кажется, мне не поверил. Уже стемнело, мы замерзли, поэтому, вымыв руки и предоставив элек-

трохимическому процессу идти своим чередом, купили на улице лепешки из каштановой муки и разошлись по домам.

На следующий день мы снова были в лаборатории. В точном соответствии с теорией катодная банка была заполнена газом почти доверху, а анодная лишь наполовину. «Вот видишь!» — сказал я с важным видом, торопясь предвосхитить даже проблеск сомнения с его стороны — конечно, не в самом электролизе, а в том, насколько точно я следую всем инструкциям, проводя этот опыт, который на самом деле был моей гордостью, плодом терпеливых экспериментов, проводимых в тайне от всех у себя в комнате. Но на Энрико мой уверенный тон не произвел впечатления. «Кто тебе сказал, что это водород и кислород? — спросил он недоверчиво. — А может, это хлор? Разве ты не насыпал туда соли?»

Я почувствовал обиду: да как он смеет во мне сомневаться! Кто из нас лучше разбирается в химии, он или я? Если это его лаборатория (да и то не его, а старшего брата), еще не значит, что он имеет право задирать нос и меня критиковать. Сам-то он какими успехами может похвастаться? «А вот мы сейчас проверим», — сказал я. Осторожно, не переворачивая, я вынул из чаши катодную баночку, зажег спичку и поднес ее снизу к горловине. Раздался взрыв довольно приличной силы, банка разлетелась на куски (к счастью, я держал ее не перед лицом, а на уровне гру-

ди), и у меня в руках, как издевательство, осталось стеклянное кольцо от пробитого доньшка.

Обсуждая случившееся, мы покинули лабораторию. Испугавшись задним числом, я чувствовал дрожь в коленях, но вместе с тем меня распирала дурацкая гордость: ведь я подтвердил гипотезу, выпустил на свободу природную силу; я доказал, что это точно был водород, тот же самый, который зажигает солнце и звезды, который, сгущаясь, рождает в вечной тишине галактики!

ЦИНК

В течение пяти месяцев мы, теснясь в аудитории, как сельди в бочке, благоговейно слушали лекции профессора П. по общей и неорганической химии, производившие на нас неоднозначное, но всегда волнующее и неожиданное впечатление. Нет, профессор П. не выдавал химию за движущую силу Вселенной или за ключ к Истине; он был ироничным скептиком, врагом всяческих риторик (а потому и именно потому антифашистом), умным, упрямым стариком с грустным юмором.

Про него рассказывали, что экзамены он принимает безжалостно и предвзято, что его излюбленные жертвы — женщины, особенно монахини, а также священники и все те, кто «одевается по-военному». Ходили смутные и совсем невероятные разговоры о его маниакальной скаредности: будто бы в Химическом институте, которым он руководил, и в его лаборатории стояли ящики с обгорелыми спичками и он не разрешал обслуживающему персоналу их выбрасывать; будто бы странные минареты института, ко-

торые и сегодня своей псевдоэкзотикой придают этой части проспекта Массимо д'Адзелио нелепый вид, велел построить он сам, еще в далекой молодости, чтобы раз в году торжественно проводить там тайные всесожжения, предавая огню накопившуюся за двенадцать месяцев ветошь и фильтровальную бумагу. Оставшуюся золу он тщательно, до последней крупички исследовал лично, экстрагируя из нее в целях своего рода палингенезиса важные (и не очень важные) элементы, или, иначе говоря, возрождая их, так сказать, из пепла. На эту тайную оргию допускался только Казелли, его верный лаборант. Еще говорили, будто на протяжении всей своей академической карьеры профессор П. пытался опровергнуть некую стереохимическую теорию, причем не экспериментальным, а теоретическим путем. Опыты проводил его главный соперник, живущий в другой части света, и публиковал результаты в *Helvetica Chimica Acta*, а профессор П. разбивал их в пух и прах один за другим. За правдивость этих слухов поручиться не берусь, но, честное слово, когда он входил в учебную лабораторию, горелки Бунзена вспыхивали так ярко, что благоразумнее было их совсем затушить; от студентов он требовал, чтобы они из собственных монет в пять лир с орлом готовили нитрат серебра, а из двадцати центезимо с летящей голой дамой — хлорид никеля, это чистая правда, а в тот единственный раз, когда я был допущен в его кабинет, на доске кра-

сивыми буквами было написано: «Не хочу хоронить ни живых, ни мертвых», и это тоже правда.

У меня П. вызывал симпатию. Мне нравились его лекции четкостью и ясностью изложения; нравилось, как демонстративно он игнорировал требование облачаться на экзамены в фашистскую рубашку, являясь в смешном черном нагруднике размером с ладонь, который от каждого резкого движения вылезал из-под пиджака; и два учебника его мне нравились: они были написаны до предела просто, сжато, с нескрываемым мрачным презрением к человечеству вообще и к ленивым глупым студентам в частности (потому что все студенты по определению ленивы и глупы); те же, кому выпадала удача доказать ему обратное, поднимались в его глазах и удостаивались немногословной и потому особенно ценной похвалы.

Но вот пятимесячное напряженное ожидание подошло к концу, и из восьмидесяти первокурсников были отобраны двадцать наименее ленивых и наименее глупых, четырнадцать юношей и шесть девушек, перед которыми открылись двери учебной лаборатории. Что там будет происходить, никто толком себе не представлял, но, кажется, П. задумал нечто вроде древнего ритуала посвящения в современной технической форме, цель которого — оторвать нас от книг и школьной скамьи и, бросив в дым, который разъедает глаза, в кислоту, которая разъедает руки, дока-

зять нам, что практика не имеет ничего общего с теорией. Я не собираюсь оспаривать пользу, больше того, необходимость подобного посвящения, но в бесчеловечности, с какой оно проводилось, легко угадывался злорадный характер П., его намерение подчеркнуть разделявшую нас дистанцию, поглумиться над нами, его покорным стадом, вызывавшим у него лишь презрение. Короче говоря, он не удосужился посвятить нас в тонкости профессии, не расщедрился ни на одно напутственное слово, не сказал и не написал ничего, что подбодрило бы нас перед вступлением на избранный путь, уберегло бы от неизбежных опасностей. Я часто думал, что в глубине души П. — дикарь; собираясь в лес на охоту, он не берет ничего, кроме ружья, точнее, копья или даже лука, потому что полагается только на самого себя. Бери, что есть, и иди! Если расчет верен, никакие пожелания или напутствия не требуются; теория — ерунда, учись по ходу дела; чужой опыт не годится, все проверяй на собственной шкуре. Если ты чего-то стоишь, то победишь, но, если у тебя слабое зрение, нетвердая рука и плохой нюх, лучше сойди с дороги и займись чем-нибудь другим. Я уже говорил, что на первом курсе нас было семьдесят человек; тридцать бросили химию уже через год, еще двадцать сделали это позже.

В лаборатории царили порядок и чистота. Мы проводили в ней по пять часов ежедневно — с двух до семи. Вначале ассистент назначал каждому зада-

ние, потом мы отправлялись в «лавку», где колючий Казелли выдавал нам исходный материал — экзотический или самый что ни на есть обыкновенный: одному кусочек мрамора, другому десять граммов брома, третьему немного борной кислоты и еще горсть глины в придачу. Вышеназванные ценности Казелли вручал нам с явным недоверием: это был хлеб науки, хлеб П. и в конечном счете его собственный, потому что он им распоряжался, а мы, профаны и недоучки, могли, чего доброго, использовать его не по назначению.

Казелли любил П., но спорной, ядовитой любовью. Он служил ему верой и правдой около сорока лет и, будучи его тенью, его земным воплощением, являл собой любопытный человеческий экземпляр, как и все, кто выполняют наместнические функции: я имею в виду тех, кто представляют Власть, не обладая ею лично, например церковники, музейщики, охранники, медицинские сестры, помощники адвокатов и нотариусов, торговые агенты. Все они в большей или меньшей степени склонны перенимать черты тех, кому служат, копировать образец, как искусственные кристаллы. Одних это угнетает, другим доставляет удовольствие, и в зависимости от того, действуют ли они по долгу службы или по собственной инициативе, взаимоотношения с «хозяйном» складываются по-разному. Случается, его личность поглощает их собственную целиком, лишая

нормального человеческого общения, поэтому они часто остаются одинокими, как монахи, для которых безбрачие — обязательное условие, без соблюдения которого нельзя приблизиться к Всевышнему и Ему служить.

Казелли был тихий, молчаливый человек, но в его грустном и в то же время надменном взгляде можно было прочесть: «Он великий ученый, значит, и я, его *fatulus** , чего-то стою... Пусть я обыкновенный человек, зато знаю то, чего не знает он... Я понимаю его лучше, чем он себя; я умею предугадывать его поступки... Я имею над ним власть; я его охраняю и защищаю... Я могу говорить о нем плохо, потому что люблю его; вам же это не положено... Он всегда прав, но постепенно начинает сдавать; когда-то все было по-другому, и если бы не я...»

Действительно, хозяйничая в институте, Казелли даже перещеголял в жадности и косности самого П.

Мне в первый день досталось готовить сульфат цинка. Никаких сложностей я не предвидел: сначала надо сделать простейший стехиометрический расчет, соединить гранулированный цинк с предварительно разбавленной серной кислотой, довести раствор до нужной концентрации, чтобы образовались кристаллы соли, высушить их в вакууме, про-

* Слуга, раб (лат.).

мыть и снова кристаллизовать. Zn, цинк — металл как металл, серого цвета, нетоксичный, им покрывают баки для кипячения белья, соли он образует бесцветные, вступая в реакции, не окрашивается; скучный элемент, одним словом, воображение не будоражит. Человечеству известен всего два или три века, не то что медь, прославленный ветеран, или совсем «молоденькие», открытие которых надедало много шуму.

Получив у Казелли свой цинк, я отошел к столу и принялся за работу. Мне было интересно, но я робел и даже немного побаивался, как в тринадцать лет перед бар-мицвой*, когда мне предстояло продекламировать в храме перед раввином заученное на еврейском языке благословение. Долгожданный и волнующий момент наконец настал; пробил час свидания с великой антагонисткой Духа Материей, *Hyle*, Первичным Веществом, которым набальзамированы алкильные радикалы вроде метила или бутила.

Второй исходный материал Казелли не выдавал: партнерша цинка серная кислота стояла на всех столах, естественно, концентрированная. Нужно было развести ее водой, причем очень осторожно: во всех учебниках написано, что *кислоту всегда приливают к воде*, а не наоборот, в противном случае столь безо-

* Бар-мицва (сын заповедей) — обряд вступления тринадцатилетнего мальчика в совершеннолетие.

бидная на вид вязкая жидкость вскипит, как разъяренный субъект, это известно даже школьникам. Потом уже в разведенную серную кислоту добавляют цинк.

В конспектах лекций упоминалась одна деталь, которой я вначале не придавал значения: скромный и деликатный цинк, настолько податливый кислотам, что они вмиг могут его поглотить, ведет себя в чистом состоянии совершенно иначе: он упорно сопротивляется нападению. Из этого можно сделать два противоречащих друг другу философских заключения: да здравствуют чистые, ибо они, как панцирем, защищены от воздействий; да здравствуют нечистые, ибо они способны изменяться, а значит, жизнеспособны. Отбраковав первый постулат как излишне моралистический, я остановился мыслью на втором, который был мне больше по душе. Потому что колесо крутится, жизнь идет, одно смешивается с другим, другое еще с другим... Даже почва, как известно, нуждается в удобрениях. Разнообразие и противоречия необходимы, они как соль для вкуса, как горчица. Фашизм не признает разнообразия, запрещает его, поэтому ты не фашист; фашизм хочет всех сравнять, но ты несравним. Безупречной чистоты вообще не существует, а если и существует — она недостижима. Ладно, теперь возьми раствор сульфата меди, он стоит среди реагентов, капни капельку в свою серную кислоту, и тут же начнется реакция: цинк про-

снется и накинет на себя белую шубу из водородных пузырьков, вот оно, настоящее чудо! Теперь можешь на время выйти из-за стола, пройтись по лаборатории, посмотреть, чем занимаются остальные.

Остальные занимались кто чем: одни прилежно трудились над своей частицей Материи, даже насвистывали, возможно, чтобы выглядеть непринужденно, другие смотрели из окон на парк Валентино, уже одевшийся в зелень, третьи пока слонялись, курили или болтали.

В углу был вытяжной шкаф, и прямо перед ним сидела Рита. Я подошел к ней и с радостью отметил, что она готовит то же самое блюдо, что и я. С радостью, потому что уже давно ходил вокруг нее, придумывал всякие умные фразы, чтобы начать разговор, но в нужный момент терялся и давал себе отсрочку до следующего раза. Терялся я из-за своей природной скованности и застенчивости, да и сама Рита держалась почему-то так, что я не осмеливался с ней заговорить. Она была худая, бледная, грустная, молчаливая и уверенная в себе, экзамены сдавала на высокие баллы, но интереса к изучаемым предметам, я чувствовал это, не проявляла; ни с кем не дружила, никто про нее ничего не знал. Рита мне нравилась, я старался сесть рядом с ней на лекциях, но она словно не замечала моих попыток сближения, и меня это обижало и расстраивало. Я вообще последнее время был на грани отчаяния, потому что такое случалось и

раньше; мне уже начинало казаться, что я обречен на одиночество, что ни одна женщина никогда не подарит мне улыбку, а мне так этого хотелось!

Но тут я понял, что мне представился счастливый случай и упустить его я не должен: между мной и Ритой протянулся мост, цинковый мостик — шаткий, но вполне реальный. Так давай же, смелей!

Все еще не решаясь заговорить, я обратил внимание на второе счастливое совпадение: из сумки девушки торчала хорошо знакомая обложка, желтоватая с красной каемкой и с орлом, держащим в клюве книгу. Название? Видны были только окончания двух слов «АЯ» «РА», но этого было достаточно, чтобы понять: в сумке Риты лежит книга, на которую я молился последние месяцы, книга про Ганса Касторпа, про очарованный приют, существующий вне времени на Волшебной горе. Я спросил, какого она мнения о романе, волнуясь так, будто его написал не Томас Манн, а я сам, и вскоре мне пришлось убедиться, что она читает его иначе, чем я, а именно как роман. Она с интересом следила за развитием отношений Касторпа с мадам Шоша и без сожаления пропускала потрясающие (с моей точки зрения) политические, религиозные и метафизические споры гуманиста Сеттембрини с евреем-иезуитом Нафтой.

Но в конце концов, это не важно, главное — у нас есть теперь почва для общения. Наш разговор может даже перерасти в серьезную дискуссию, потому что

она не еврейка, а я еврей — тот нечистый, который заставляет цинк вступать в реакцию, тот самый кристаллик соли, то самое горчичное зернышко. Да, я нечистый. Как раз несколько месяцев назад начал издаваться журнал «Защита расы», и чем больше разговоров было о чистоте, тем больше я гордился тем, что принадлежу к нечистым. Честно говоря, до последнего времени я не придавал большого значения тому, что я еврей; к своему происхождению я сам и мои товарищи-христиане относились скорее как к курьезу, не имеющему никакого значения, как к смешному дефекту вроде кривого носа или веснушек. Еврей — это тот, кто не ставит на Рождество елку, кто не должен есть копченую свиную колбасу, но ест, кто в тринадцать лет знал немного еврейский, а потом забыл. Но если верить вышеупомянутому журналу, еврей жаден и коварен, хотя лично я не был ни жадным, ни коварным, и мой отец тоже не был.

Так что нам с Ритой было о чем поговорить, но того разговора, на который рассчитывал я, не получилось. Очень скоро стало ясно, что мы с Ритой разные. Для нее, дочери бедного больного лавочника, университет был не Храмом Знаний, а тернистой дорогой к положению, работе, заработку. С детства она помогала отцу — стояла за прилавком в деревенской лавке и даже ездила на велосипеде в Турин с разными поручениями, в том числе собирать долги. Все это не отталкивало меня, а, наоборот, еще больше при-

тягивало к ней, я восторгался ее не слишком ухоженными руками, поношенной одеждой, строгим грустным взглядом, настороженным отношением к моей болтовне.

Тем временем сульфат цинка выпал наконец в белый осадок, вынудив свою партнершу серную кислоту почти полностью исчезнуть. Оставив их на произвол судьбы, я предложил Рите проводить ее домой. Было темно, и жила она неблизко. В моем предложении не было ничего предосудительного, но, решившись на него, я казался себе самым смелым на свете смельчаком. Мы уже прошли половину пути; я весь горел, точно ступал по раскаленным углям; изматывающий бессвязный разговор кружил голову мне и ей. Наконец, дрожа от волнения, я просунул свою руку под ее локоть. Она не отвела его и не прижала мою руку, она словно ничего не заметила, но я приноровил свой шаг к ее шагу и был на седьмом небе от счастья. Мне казалось, что я выиграл маленькое, но очень важное сражение против тьмы, пустоты и враждебного будущего, которое вот-вот наступит.

ЖЕЛЕЗО

За стенами Химического института наступила ночь, и во всей Европе тоже: Чемберлен вернулся из Мюнхена побежденным, Гитлер вошел в Прагу без единого выстрела, Франко покорил Барселону и засел в Мадриде. Младшая преступница, фашистская Италия, оккупировала Албанию, и предчувствие неминуемой катастрофы, сгущаясь, превращалось в липкий конденсат, который оседал на улицах, проникал в дома, в осторожные разговоры, в убаюканную совесть.

Но в сам институт толстые стены не пропускали ночь: фашистская цензура, это высшее достижение режима, держала нас под наркозом, изолировав от остального мира. Примерно тридцати из нас удалось взять первое трудное препятствие — сдать экзамены, после чего мы были переведены на второй курс и допущены в лабораторию качественного анализа. Мы вошли в просторное темное закопченное помещение с благоговением, как входят в святилище. Занятия в прежней лаборатории, той, с цинком, каза-

лись теперь невинной забавой, игрой, в которую играют дети, готовя понарошку обед. Но как бы там ни было, может, не много и не полно, но кое-что мы все-таки успели усвоить, и надо было быть полной бездарью или очень уж постараться, чтобы не научиться получать сульфат магния из магнезита или бромистый калий из брома.

Здесь все было иначе, все было всерьез: общение с Матерью-материей, недоброй матерью, было теснее и жестче. В два часа профессор Д. с рассеянным и равнодушным видом выдавал каждому из нас ровно грамм порошка, который мы должны были к следующему дню подвергнуть качественному анализу, иными словами, определить, какие металлы и неметаллы он содержит. Отчет следовало представить письменно, в форме ответов «да» или «нет», чтобы не оставалось никаких сомнений или недомолвок. Приходилось каждый раз делать выбор, принимать решение, зрелое и ответственное, и, поскольку фашизм нас ни к чему подобному не готовил, это укрепляло и очищало наш дух.

Есть элементы простые и свободные, не способные прятаться, такие, как железо и медь; есть и другие, хитрые, неуловимые, например висмут и кадмий. Есть старый и трудоемкий метод исследования, что-то вроде прочесывания или прохождения катком, который (теоретически) все позволяет выловить, но я предпочитал идти своим путем, бросаться

в быстрые внезапные атаки, вести наступательную, а не изнурительную позиционную войну: сублимировать ртуть, превратить натрий в хлористый натрий, а затем рассматривать его на предметном стекле под микроскопом. В зависимости от выбранного способа менялись и развивались мои отношения с Материей; мы с ней боролись, наносили друг другу удары, как два фехтовальщика, как два неравных противника: по одну сторону — загадывающий загадки беззащитный неоперившийся птенец, неопытный химик с учебником Аутенрита под мышкой, единственным своим союзником (Д., нередко призываемый на помощь в трудных случаях, держал строгий нейтралитет и хранил молчание, следуя мудрому правилу, что лучше ничего не сказать, чем сказать что-то не то, потому что профессору ошибаться не положено); по другую — разгадывающая эти самые загадки, погруженная в себя Материя, внушительная и беззащитная, старая, как Вселенная, и коварная, как Сфинкс. Я начал в то время изучать немецкий, и меня очаровывало слово *Urstoff* (что означает «элемент», «первичное вещество»), особенно слог *Ur*, с которого оно начиналось и которое означало древность происхождения, удаленность в пространстве и во времени.

И здесь тоже никто не тратил слов, чтобы научить нас осторожному обращению с кислотами и щелочами, предостеречь от пожаров и взрывов; по-

хоже, в основе суровых институтских законов лежал естественный отбор: кто более приспособлен, тот и выживет — физически и профессионально. Вытяжных шкафов было мало; каждый из нас в процессе выполнения своего задания усердно выпускал в воздух хорошую порцию соляной кислоты и аммиака, из-за чего в лаборатории постоянно висел седой туман с едким запахом нашатыря, оседавший на оконных стеклах крошечными сверкающими кристаллами. Парочки в поисках уединения удалялись в комнату сероводорода, где нечем было дышать; заходили туда и те, кто любил съесть свой завтрак в одиночестве.

В сосредоточенной тишине лаборатории, в туманной мгле раздался голос, который произнес с пьемонтским акцентом: «*Nuntio vobis gaudium magnum. Habemus ferrum*»*. Был март тысяча девятьсот тридцать девятого года, и за несколько дней до этого почти столь же торжественными словами («*Nuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam*»**) завершился конклав, чьим решением на престол Петра был возведен кардинал Эудженио Пачелли, на кото-

* Возвещаю вам большую радость. Мы имеем железо (лат.).

** Возвещаю вам большую радость. Мы имеем Папу (лат.). Традиционная форма извещения о выборе нового Папы.

рого многие надеялись, потому что нужно же на что-то или на кого-то надеяться. Богохульство изрек Сандро, молчун.

Среди нас он был чужаком. Среднего роста, худой, но крепкий, он никогда, даже в самые холодные дни, не надевал шапку. На лекциях появлялся в изношенных вельветовых зуавах, серых шерстяных гольфах, а иногда и в черной накидке, вызывая у меня ассоциацию с Ренато Фучини*. У него были большие мозолистые руки, костистое обветренное и загорелое лицо, низкий лоб; волосы он всегда стриг коротко, ежиком, и ходил широкой и неспешной походкой крестьянина.

Несколько месяцев назад вступили в силу расовые законы, и я тоже стал чужаком. Мои товарищи-христиане были люди воспитанные; никто из них и никто из преподавателей не сказал мне ни одного дурного слова, не проявил по отношению ко мне враждебности, но я чувствовал, как они отдаляются от меня: каждый взгляд, которым мы обменивались, сопровождался слабой, но заметной вспышкой недоверия и подозрительности. Что ты обо мне думаешь? Кто я, по-твоему? Прежний товарищ, что и полгода

* Ренато Фучини (1843—1921) — тосканский писатель. Автор сонетов, в том числе диалектальных, и рассказов, в которых описывал красоты природы и традиции родного края.

назад, такой же, как ты, хоть и не хожу к мессе, или еврей, над которым вам дозволено смеяться, а ему над вами — нет?

С удивлением и радостью я заметил, что между Сандро и мной что-то зарождается. Это что-то не было дружбой двух родственных натур; наоборот, разница в происхождении поднимала в цене обменный «товар»; мы были похожи на двух торговцев из далеких стран, о которых те до своей встречи и понятия не имели. Не было это и обычным в двадцатилетнем возрасте приятельством — до тайных признаний у нас с Сандро никогда не доходило. Я быстро понял, что он добрый, тонкий, сильный и смелый и даже слегка бравивирует этими качествами, но в то же время осторожный, как дикарь, и это помогало ему сдерживать настойчивую для нашего возраста (в котором, впрочем, можно пребывать долго, вплоть до первого жизненного компромисса) потребность немедленно делиться тем сокровенным, что вскипает в голове и в другом месте; за оболочку его сдержанности ничего наружу не просачивалось; о его внутреннем мире, который, я чувствовал это, сложен и богат, можно было лишь догадываться по скупым и редким намекам. Так кошки, живя годами с людьми, прячут от них свою сущность под священной шкурой.

Нам было что взять друг от друга. Я говорил Сандро, что мы как катод и анод, но он и виду не

подавал, что согласен с этим сравнением. Он был родом из Серра д'Ивреа — красивого, но сурового края. Сын каменщика, он каждое лето подвизался пасти — нет, не христианских агнцев, а обыкновенных овец. И не из идиллических представлений или чудачества, а из любви к земле и траве, по душевному порыву, с удовольствием. У него был забавный мимический талант, и когда он говорил о коровах, курах, овцах и собаках, то весело имитировал их взгляды, движения и голоса; казалось, он и сам перевоплощается в них, как колдун. Я много узнал от него о растениях и животных, но о своей семье он мало рассказывал. Отец его умер, когда он был еще ребенком, семья была простая и бедная, и, поскольку Сандро оказался смышленным, решили отдать его учиться, чтобы потом он приносил деньги в дом. К решению он отнесся с пьемонтской ответственностью, но без энтузиазма. Долгие годы пребывания в гимназии и классическом лицее он использовал с максимальной пользой, затратив минимум усилий. Катуллом и Декартом интересовался мало, но учиться старался, а по воскресеньям любил кататься на лыжах и лазать по горам. Химию он выбрал потому, что считал ее лучше остальных наук: она связана с предметами, вещами, которые можно увидеть и потрогать, да и кусок хлеба химику легче достается, чем столяру или крестьянину.

Мы вместе занимались физикой, и, когда я пытался растолковывать ему некоторые идеи, бродившие в то время в моей голове, Сандро искренне удивлялся. Величие Человека, доказывал я, достигнутое им за сто веков проб и ошибок, состоит в том, что он стал властелином материи, и я хочу способствовать этому величию, поэтому и выбрал химию; победить материю значит понять ее, а понять материю значит понять Вселенную и самих себя; периодическая система Менделеева (в те дни мы как раз начали ее старательно изучать) — настоящая поэзия, куда более высокая и торжественная, чем та, которую мы проходили в лицее. В ней, если хорошенько приглядеться, даже рифмы можно увидеть! И тому, кто ищет мост, связующее звено между миром на бумаге и вещественным миром, далеко ходить не надо: он здесь, в учебнике Аутенрита, в наших дымных лабораториях, в нашем будущем ремесле.

И наконец, самое главное: почему он, порядочный честный парень, не чувствует, как смердят, как отравляют воздух фашистские истины? Разве это не позор для думающего человека, когда от него требуют верить, а не думать? Неужели его не тошнит от всех этих догм, пустых заявлений, императивов? Ах, тошнит? Тогда как же он не видит в наших занятиях высокого благородного смысла, как может игнорировать химию и физику, ведь это та же пища,

только для ума, а не для желудка; то самое противоядие от фашизма, которое мы оба ищем. Тут все ясно, логично, доказуемо, ничего общего с паутиной пустопорожней лжи, которую плетут по радио и в газетах.

Сандро слушал внимательно, но насмешливо, готовый в любую минуту охладить мою излишнюю высокопарность сухим вежливым замечанием. Но постепенно он стал задумываться (тут не только моя заслуга: последние месяцы были богаты фатальными событиями), к давним сомнениям прибавились новые. Не читавший прежде даже Сальгари, Лондона и Киплинга, он вдруг стал глотать книги одну за другой, и прочитанное невольно способствовало формированию его жизненной позиции. И занятия у него пошли лучше, и оценки он стал получать выше, почти отличные. В то же время то ли бессознательная благодарность, то ли стремление к реваншу подтолкнули его к идее восполнить пробелы и в моем воспитании. Да, он согласен, материя — наша учительница или, на худой конец, наша политическая школа; но он, Сандро, учился у другой материи — не той, что нам выдают в порошке для качественного анализа, а у настоящей, древней, той самой *Urstoff*, из которой состоят обледеневшие камни соседних гор. Он без труда доказал мне, что я не имею права рассуждать о материи. Разве мне приходилось хоть когда-нибудь иметь дело с четырьмя

элементами Эмпедокла?* Растапливать печь? Переходить горный поток? Переживать снежную бурю в горах? Наблюдать, как прорастает в земле зерно? А раз не приходилось, значит, и он может кое-чему меня научить.

Благодаря Сандро моя жизнь резко изменилась. Он казался железным человеком, что, впрочем, не удивительно, потому что с железом он состоял в давнем родстве: его деды и прадеды, как он мне рассказывал, были лудильщиками (по-пьемонтски «*taghin*») и кузнецами («*fré*»), ковали из раскаленных прутьев гвозди, натягивали огненные обручи на деревянные колеса, стучали всю жизнь молотами по наковальням, отчего со временем теряли слух; сам же он, если видел красную железную прожилину в горной породе, радовался, точно встретил друга. Зимой, когда ему становилось скучно, он привязывал к раме ржавого велосипеда лыжи и крутил несколько часов педали, пока не добирался до снега — без гроша, с артишоком на обед в одном кармане и салатными листьями в другом. Возвращался вечером или на следующий день, переночевав где-нибудь на се-

* Эмпедокл из Акраганта — древнегреческий философ, которого можно назвать создателем классического учения об элементах: согласно его натурфилософии, изложенной в труде «О природе», четыре элемента (огонь, вода, воздух и земля) есть корни всех вещей.

новале, причем холод и голод только улучшали ему настроение и шли на пользу здоровью.

Летом, отправляясь на дальнюю прогулку, он брал с собой для компании собаку. Это была рыженькая смирная дворняжка. Как рассказывал Сандро, разыгрывая со свойственной ему выразительностью мимические сцены из жизни четвероногих, его песика, когда тот был еще щенком, напугала кошка. Он подошел слишком близко к новорожденным котяткам, и кошка-мать разъярилась, зашипела на него, выгнула спину, подняла дыбом шерсть. Но щенок, еще не успевший обучиться этому языку угроз, стоял, как дурачок, и не уходил. Тогда кошка бросилась на него и вцепилась ему в нос. Собаке была нанесена глубокая травма, она чувствовала себя опозоренной, и тогда Сандро смастерил из тряпок мячик и объяснил собаке, что это — кошка; каждое утро он давал ей возможность потрепать этот мячик, мстя за свою поруганную собачью честь. С той же терапевтической целью, чтобы помочь собаке развеяться, Сандро брал ее с собой в горы. Обвязав одним концом веревки ее, а другим себя, он сажал собаку на выступ скалы, а сам поднимался вверх. Когда веревка натягивалась, он начинал ее осторожно перехватывать, и собака постепенно научилась карабкаться по почти вертикальным стенам, глядя вверх и поскуливая тоненьким голоском, как во сне.

Альпинистской технике Сандро не учился, он больше полагался на интуицию и на силу своих рук; хватаясь за очередной выступ, шутливо приветствовал кремний, кальций и магний, распознавать которые нас научили на занятиях минералогии. Он считал день потерянным, когда не мог тем или иным способом потратить накопившуюся энергию; если же ему это удавалось, его взгляд оживал. Он объяснял мне, что сидячий образ жизни способствует отложению жира на внутренней стороне глаза и это вредно; а при физических нагрузках жир расходуется, глаза плотнее прилегают к глазным орбитам и зрение становится острее.

Он был не из тех, кто делает что-то для того, чтобы потом рассказывать (как я), и в свои дела посвящал неохотно; громких слов не любил, впрочем, он вообще не любил слов; говорить он, похоже, учился самостоятельно, как и лазать по горам, оттого и говорил не как все, а односложно, касаясь лишь самой сути вещей.

Он мог носить тридцатикилограммовые рюкзаки, но обычно путешествовал без них, обходясь карманами, в которые клал, как я уже говорил, листья салата, кусок хлеба, ножик, неизменный моток проволоки для экстренных случаев, изредка — растрепанный путеводитель Итальянского альпийского общества. Изредка не потому, что не доверял ему, а совсем по другой причине: тот его связывал. И еще

казался чем-то противоестественным, каким-то омерзительным гибридом снега, скал и бумаги. Если он все же брал с собой путевода, то всегда старался его унизить, уличить в обмане, причем нередко в ущерб себе или товарищам по восхождению. Он мог идти двое суток без еды или отправиться в путь на полный желудок, съев три тарелки макарон. Любое время года он считал одинаково хорошим. Зимой катался на горных лыжах, но не по модным комфортабельным трассам — их он отвергал в своей шутливой лаконичной манере: «Нам, беднякам, не по карману костюмы из тюленьих шкур». Мне он показывал спартанские средства от холода, сшитые из грубой пеньки, которые, напитавшись влагой, дубели на морозе; при спуске, объяснял он, их обматывают вокруг тела. Он таскал меня в изнурительные походы по глухим заснеженным местам, где не встречались следы людей, ориентируясь, как в первобытные времена, по наитию. Летом водил в горы, и я, обессиленный длинным переходом под палящим солнцем и ветром, ободрав в кровь пальцы о камни, к которым до меня не прикасалась ни одна человеческая рука, с трудом добирался до очередной стоянки. Сандро не привлекали знаменитые вершины, громкие восхождения его тоже не интересовали: главным для него было хорошенько узнать свой край, понять, на что он способен, закалиться, потому что в самой глубине его души зрела потребность подготовиться

(и подготовить меня) к железным временам, которые с каждым месяцем приближались.

Глядя на Сандро в горах, я примирялся с миром, забывал о кошмаре, в который погружалась Европа. Здесь Сандро был в родной стихии, как сурок, свисту которого он подражал, как гриф; здесь он светился счастьем, и отсвет этого тихого счастья падал на меня. Во мне нарождалось новое чувство — чувство причастности к земле и небу, которое соединялось с потребностью в свободе, с приливом сил, с жадным стремлением понять, что именно влечет меня к химии. С трудом продрав глаза, мы выходили из хижины на стоянке Мартинотти, и вот они, горы, едва тронутые солнцем, чистые и темные, словно только народились в эту ночь, и одновременно неисчислимо древние. Это было что-то неземное, потустороннее.

Впрочем, мы не всегда забирались в такую высь или даль. В переходные времена года Сандро влекли к себе тренировочные скалы. До них от Турина было два-три часа езды на велосипеде, и мне любопытно было бы узнать, посещает ли теперь кто-нибудь Макушку Стога, Башню Волькмана, Зубастую и Голую скалы, а также еще несколько других скал со столь же бесхитростными местными названиями. Одну из них, кажется, открыл то ли сам Сандро, то ли его мифический брат, которого, если я правильно понял смутные объяснения, он называл братом в том смысле, что все люди на земле — братья. Я его никогда не

видел. Пьемонтское название этой скалы — *lo Sbarüa* — происходит от глагола *sbarüé*, что значит «пугать». По форме гранитная призма, она возвышается на сотню метров над холмом, поросшим промышленным лесом и колючими кустами ежевики. Как и Критский Старец, она рассечена от подножия до вершины, и трещина кверху сужается настолько, что скалолазу волей-неволей приходится выходить на стену, из которой торчит один-единственный гвоздь, вбитый по доброте душевной братом Сандро. Как тут не испугаться?

В этих местах собиралось несколько десятков любителей вроде нас, и каждого Сандро знал не только в лицо, но и по имени. Не слишком владея техникой скалолазания, мы карабкались вверх в окружении привлеченных запахом нашего пота надоедливых слепней и оводов, нащупывая ногой удобные прочные камни, вылезая на уступы, поросшие папоротником и земляникой весной и редкими кустами ежевики осенью, хватаясь за чахлые, укоренившиеся в расселинах деревца, и спустя несколько часов достигали вершины. Не горной вершины в общепринятом понимании, а ровного пастбища, с которого на нас равнодушно поглядывали коровы. Спускались мы чуть ли не кубарем, за считанные минуты, по тропам, густо покрытым свежими и засохшими коровьими лепешками, торопясь к своим велосипедам.

Наши вылазки нельзя было назвать приятными прогулками, Сандро говорил, что налюбоваться видами мы успеем после сорока; иногда они изнуряли нас вконец. «*Dôta, neh?*» («Завтра, а?») — сказал он мне однажды в феврале, и на его языке это означало, что, поскольку погода хорошая, мы можем сегодня вечером отправиться в путь, чтобы завтра осуществить планируемое уже несколько недель зимнее восхождение на Зубец М. Мы переночевали в недорогой гостинице, а на следующее утро (не слишком рано, хотя во сколько точно — сказать не могу, потому что Сандро не любил часов; их постоянное напоминание о времени он воспринимал как беспардонное вторжение в его жизнь) бодро окунулись в туман. Около часу дня мы вышли из тумана на яркое солнце и на гребень совсем другой горы.

Тогда я сказал, что мы можем спуститься метров на сто, пересечь полсклона и подняться на следующий гребень. А еще лучше, раз уж мы вышли сюда, продолжать подниматься и удовлетвориться покорением этой вершины, которая всего-то на сорок метров ниже той, которую мы наметили. Сандро, изъясняясь на своем немногословном языке, принял во внимание мое последнее предложение, но с завидным упрямством настаивал, чтобы мы поднялись по «не представляющему трудностей северо-западному гребню» (он издевательски процитировал уже упоминавшийся путеводитель Итальянского альпийско-

го общества) на Зубец М., это займет у нас полчаса. «В двадцать лет, — сказал он, — простительно иной раз сбиться с пути».

«Не представляющим трудностей» этот гребень был летом, тогда мы действительно поднялись бы на него в два счета, сейчас же он был мокрый на солнечных участках, скользкий как каток на затененных, а на ровных местах сырой снег был так глубок, что мы утопали в нем по пояс.

— А как мы будем спускаться?

— Там видно будет, — ответил он и таинственно добавил: — Возможно, придется отведать медвежатины, это самое худшее, что может случиться.

— Медвежатины так медвежатины, все равно у нас впереди длинная ночь.

Мы поднимались два часа: от обледеневшей веревки проку было мало: она превратилась в колючий негнущийся ком, который цеплялся за каждый выступ и звенел, как металлический трос. В семь часов вечера, когда мы вышли к замерзшему озерцу, было уже темно. Мы съели свой скудный ужин, соорудили хлипкую стенку с подветренной стороны и легли спать прямо на земле, прижавшись друг к другу. Холод пронизывал нас до костей, и приходилось часто вставать, чтобы разогнать кровь. Казалось, даже время замерзло: ночь все не кончалась, ветер дул не стихая, луна стояла на одном и том же месте, а перед ней застыла в небе фантастическая череда рва-

ных облаков. Мы сняли обувь, как рекомендует в своих книгах почитаемый Сандро Ламмер, и засунули ноги в мешки; едва забрезжил свет (казалось, светлеет снег, а не небо), мы встали со своего ледяного ложа окоченевшие, голодные, с воспаленными от бессонницы глазами и обнаружили, что наши ботинки обледенели; чтобы засунуть в них ноги, пришлось их отогревать: мы сидели на них, как куры сидят на яйцах.

И все-таки спустились мы вниз без посторонней помощи. Хозяину гостиницы, который, взглянув на наши измученные лица, спросил насмешливо, как все прошло, мы гордо ответили, что отлично прогулялись, и, заплатив по счету, с достоинством отправились восвояси. Это и называлось «отведать медвежатины», и теперь, спустя столько лет, я жалею, что так мало отведал, потому что ничто из всего хорошего, что дарила мне жизнь, не оставило в памяти подобного вкуса — вкуса силы и свободы, пусть даже свободы ошибаться, оставаясь при этом хозяином своей судьбы. И я благодарен Сандро, который сознательно вовлекал меня в трудные предприятия, лишь на первый взгляд казавшиеся безрассудными; я точно знаю, что позже этот опыт мне пригодился.

Ему самому — нет, во всяком случае, он его не уберег: Сандро, Сандро Дельмастро погиб среди первых в пьемонтском боевом отряде Партии дейст-

ЖЕЛЕЗО

вия*. В апреле сорок четвертого года после нескольких месяцев неравной борьбы он был схвачен фашистами и отправлен в Кунео. При попытке к бегству был убит автоматной очередью, выпущенной ему в затылок безжалостным ребенком-палачом, озлобленным пятнадцатилетним охранником, одним из тех, кого республика Сало набирала в колониях для малолетних преступников. Его тело долго лежало на улице, потому что фашисты не разрешали его похоронить.

Сегодня я знаю, что обрывать человека в слова, возрождать его на листе бумаги, особенно такого, как Сандро, — дело безнадежное. Он был не из тех, о ком рассказывают, не из тех, кому ставят памятники, над которыми, кстати, сам он всегда смеялся. Человек действий, он существовал только в них, и от него ничего не осталось. Ничего, кроме слов.

* Либерально-социалистическая партия, активно участвовавшая в партизанском антифашистском движении в Северной Италии.

КАЛИЙ

К январю тысяча девятьсот сорок первого года судьба Европы и всего мира была решена. Только наивный мог еще надеяться, что Германия не победит. Близорукие англичане не замечали, что игра проиграна; они упорно противостояли бомбардировкам, но были в одиночестве и, атакованные со всех сторон, несли тяжелейшие потери. Только те, кто закрывали глаза и затыкали уши, могли не понимать, что ждет евреев в онемеченной Европе; мы же читали «Братъев Оппенгейм» Фейхтвангера, нелегально привезенных из Франции, и английскую «Белую книгу», привезенную из Палестины, в которой описывались нацистские зверства. В прочитанное верилось наполовину, но и этого было достаточно. В Италии оказалось много беженцев из Польши и Франции, и мы разговаривали с ними; они не могли сообщить нам достоверных сведений о массовых убийствах, совершавшихся под чудовищным покровом молчания, но каждый из них был вестником, как те трое, что приходили к Иову,

говоря: «...и спасся только я один, чтобы возвестить тебе»*.

И все же, поскольку жить хотелось, молодость брала свое и кровь в жилах была горяча, не оставалось ничего другого, как добровольно выбрать слепоту; по примеру англичан мы «не замечали» или, отгоняя от себя мысли об опасности, не воспринимали, а потому тут же забывали пугающую нас информацию. Теоретически можно было бросить все и бежать, переехать в какую-нибудь далекую сказочную страну, из тех немногих, что еще держали открытыми свои границы, в Британский Гондурас или на Мадагаскар, но для этого надо было иметь много денег и фантастическую энергию, а ни я, ни моя семья, ни мои друзья не имели ни того, ни другого. Впрочем, когда глядишь на вещи с близкого расстояния и видишь их во всех деталях, они не кажутся столь уж пугающими: вокруг нас Италия или, точнее говоря (в то время мало кто путешествовал), Пьемонт и Турин, врагов здесь нет. Пьемонт — наша родина, другой мы не помним; горы вокруг Турина, которые видны в ясную погоду и до которых можно доехать на велосипеде, — наши горы, они научили нас трудолюбию, терпению и определенной мудрости, их ни на что не променяешь. Здесь, в Пьемонте и Турине, наши корни, и, хотя их нельзя назвать древними, они глубоки,

* Книга Иова, 1: 15—17.

обширны и так сплелись с другими корнями, что их не вырвать.

В нас, будь то «арийцы» или евреи, да и вообще во всем нашем поколении еще не вызрела мысль, что фашизму можно и должно сопротивляться. Наше тогдашнее сопротивление было пассивным; оно ограничивалось отстраненностью, неучастием, брезгливостью; мы пока не были готовы к активному сопротивлению, ростки которого были срезаны одним взмахом серпа несколько лет назад, когда в тюрьмы, в ссылку, в изгнание, в неизвестность отправились последние туринские герои и свидетели — Эйнауди, Гинзбург, Монти, Витторио Фoa, Дзини, Карло Леви. Мы о них ничего не знали, их имена ничего нам не говорили; вокруг нас не было противников фашизма. Приходилось начинать с нуля, «придумывать» собственный антифашизм, вынашивать его в себе, блуждать окольными путями, и пути эти уводили нас далеко: Библия, Кроче, геометрия, физика — вот из каких источников мы черпали истину.

Собирались мы в спортивном зале старинной начальной еврейской школы, гордо именовавшейся «Талмуд Тора», и с помощью Библии, ассоциируя новых угнетателей с Ассуром и Навуходоносором, пытались ответить себе на вопросы, как победить несправедливость и восстановить справедливость. Но где Он теперь, Кадош Баруху, «Пресвятой, благословен Он», разорвавший рабские оковы, утопивший

колесницы египтян? Почему Тот, Кто дал Моисею Закон и вдохновлял на освободительную борьбу Ездру и Неемию, больше никого не вдохновляет? Почему небо над нами безмолвно и пусто? Почему Он позволяет истреблять польские гетто? Медленно, трудно в нас вызревала мысль, что мы одни, что нам не на кого рассчитывать ни на земле, ни на небе и в своей борьбе мы должны полагаться только на собственные силы. А чтобы проверить предел своих возможностей, мы выбрали своеобразный (не такой уж нелепый) способ: мчаться сто километров на велосипеде, с остервенением и упорством карабкаться по почти незнакомым отвесным скалам, доводить себя до изнеможения, мерзнуть, голодать ради того, чтобы закалиться, воспитать в себе решимость. Гвоздь вобьется или не вобьется; веревка выдержит или не выдержит — это тоже истина.

Химия перестала быть для меня только химией. Я проник в сердце Материи и понял, что она в отличие от Духа моя союзница: Дух превозносят фашисты, значит, он мой враг. Но к четвертому курсу я вынужден был признать, что чистая химия, по крайней мере, в том виде, в каком нам ее преподносят, не может ответить на все мои вопросы. Готовить бромбензол или метилвиолет по учебнику Гаттермана увлекательно и даже весело, но это почти то же самое, что готовить по кулинарной книге Артузи; почему таким способом, а не другим? После лица, где мне вдальб-

ливали фашистскую идеологию под видом непререкаемой истины, все непререкаемые истины стали вызывать скуку или подозрение. Существуют химические теоремы? Нет, не существуют, значит, нельзя довольствоваться «*quia*»*, нужно докопаться до истоков, идти дальше, к математике и физике. Истоки химии доверия не внушают, они, мягко говоря, сомнительны: это алхимики на потаенных кухнях со своими путаными идеями, дурацкими названиями, нескрываемым интересом к золоту и восточным надувательством под видом врачевания и магии. Истоки физики — дело другое; там западная точность и ясность, там Архимед и Евклид. Физиком, вот кем бы я хотел стать, пусть даже и без диплома, раз Гитлер и Муссолини мне в нем отказывают.

На четвертом году обучения химикам по программе полагался краткий курс практической физики: простые измерения вязкости, поверхностное натяжение, вращательное движение и тому подобное. Вел курс молодой ассистент — худой, высокий, сутулый, воспитанный и застенчивый; с нами он был необыкновенно деликатен, к такому обращению мы не привыкли. Остальные наши преподаватели, почти все без исключения, демонстрировали убежденность в том, что их предмет — самый главный, важнее всех остальных. Одни и в самом деле так считали, другие стреми-

* Поскольку, так как (*лат.*).

лись лишь самоутвердиться за счет своего предмета, предъявить на него безраздельные права. Ассистент же держался так, словно чувствовал себя виноватым перед нами, словно извинялся, что вторгся в нашу жизнь. Его чуть застенчивая улыбка с налетом тонкой иронии словно говорила: «Я прекрасно понимаю, что с такой устаревшей, изношенной аппаратурой ничего путного не добиться, что все, чем мы здесь занимаемся, — ерунда, к науке никакого отношения не имеет, но вы должны научиться этому с моей помощью, а потому, будьте как добры, постарайтесь, не слишком усердствуя, усвоить как можно больше». Вскоре все девушки курса в него влюбились.

В течение последних месяцев перед окончанием университета я предпринимал отчаянные попытки получить место аспиранта у кого-нибудь из профессоров. Одни отказывали мне в моей просьбе, ссылаясь со смущенным или, наоборот, надменным видом на расовые законы, другие прибегали к смутным, малобудительным отговоркам. Как-то вечером, буквально раздавленный четвертым или пятым отказом, я с горьким чувством возвращался домой на велосипеде. Медленно крутя педали, я ехал по улице Вальперга Калуза, и меня догоняли и перегоняли клочья холодного тумана, которые нес ветер со стороны парка Валентино. Было уже поздно, и свет фонарей, покрашенных фиолетовой краской по причине затемнения, едва пробивался через мглу и мрак.

Прохожие попадались редко, шли торопливо, но вот один неожиданно привлек мое внимание: немного сутулый, в длинном черном пальто, с непокрытой головой, он двигался в моем направлении неспешным размеренным шагом и очень походил на ассистента, преподававшего нам физику, да это он и был. Я колебался, как поступить, поэтому сначала обогнал его, потом, набравшись смелости, вернулся обратно и снова не решился заговорить. Что я о нем знал? Ничего. Он мог оказаться человеком бездушным, лицемерным, а то и вовсе врагом. Но потом я подумал, что ничем не рискую, в крайнем случае услышу очередной отказ, поэтому подъехал к нему и спросил без обиняков, нельзя ли мне заниматься исследовательской работой на его факультете. Ассистент посмотрел на меня удивленно и вместо ожидаемых мной длинных разглагольствований ответил тремя евангельскими словами: «Иди за Мною»*.

На факультете экспериментальной физики в пыли обитали призраки прошлого. За стеклянными дверцами шкафов, тянувшихся длинными рядами, громоздились кипы пожелтевших, изъеденных мышами или молью бумаг; тут хранились наблюдения за затмениями, сведения о землетрясениях, метеорологические сводки начиная с первых лет прошлого века. У

* Евангелие от Иоанна, 1: 43.

стены одного из коридоров лежала необыкновенная труба длиной более десяти метров, о происхождении и назначении которой никто ничего не знал, возможно, она должна была возвестить о наступлении Судного дня, когда все скрытое выйдет на свет. Еще я увидел здесь модель древней паровой турбины в стиле Сецессиона*, фонтан Герона** и множество устаревших и великолепных вещей, служивших наглядными пособиями для студентов многих поколений. Все это если и не было реквизитом иллюзиониста, то очень на него смахивало, потому что превращало физику из науки в какое-то наивно-патетическое представление.

Ассистент принял меня в комнате на первом этаже, служившей ему кабинетом и заставленной совсем другими, неизвестными и очень любопытными приборами. Некоторые молекулы, объяснил он, являются носительницами электрического диполя, они ведут себя в электрическом поле как маленькие стрелки компаса, а именно ориентируются, одни лучше, другие хуже. Степень их уважения к определенным законам колеблется в зависимости от условий, и назначение приборов, которые здесь находят-

* Под таким названием известна группа молодых немецких художников, сыгравших решающую роль в формировании общеевропейского стиля модерн.

** Герон Александрийский (I в. н. э.) — греческий механик и математик.

ся, определять как неизученную пока степень этого уважения, так и сами условия. Приборы ждут того, кому они понадобятся, но лично он занимается другими проблемами, связанными, в частности, с астрофизикой (я был потрясен: прямо передо мной стоял настоящий, живой астрофизик!). Да и не знает он, как очищать и дозировать необходимые для подобных опытов ингредиенты, тут нужен химик, так что добро пожаловать в лабораторию. Он выделил мне рабочее место (два квадратных метра на лабораторном столе и один письменный целиком), дал небольшой набор орудий труда, из которых главными были вестфальские весы и гетеродин. С такими весами я уже имел дело, что же касается гетеродина, то и с ним я нашел общий язык. Этот маломощный вспомогательный генератор был, по сути, радиоприемником, реагирующим на малейшие колебания частоты: стоило только пошевелиться на стуле, передвинуть руку или кому-нибудь войти в комнату, он начинал лаять, как дворовая собака. В определенные часы он выдавал кучу всевозможных таинственных сообщений: эфир разрывался от азбуки Морзе, разнообразных свистов, искаженных, едва различимых голосов, произносивших фразы на непонятных языках (иногда и на итальянском, но зашифрованные, а потому тоже непонятные). Казалось, из-за гор и морей, с кораблей и самолетов неизвестно кому и неизвестно от кого летят смертоносные известия.

За горами, за морями, сказал ассистент, живет один ученый по имени Онзагер*, о котором он знает только одно, что он вывел уравнение, способное объяснить поведение полярных молекул в любых условиях, главное, чтобы они находились в жидком состоянии. Опыты с разведенными растворами правильность уравнения подтверждают, но не известно, пытался ли кто-нибудь проверить его на растворах концентрированных, а также на чистых полярных жидкостях и на их соединениях. Именно этой работой он мне и предложил заняться, и я с радостью, не раздумывая, согласился. Итак, я должен буду приготовить ряд сложных жидких смесей и проверить, подчиняются они уравнению Онзагера или не подчиняются. Но в первую очередь, поскольку сейчас нелегко достать продукты высокой чистоты, я должен сделать то, что сам он делать не умеет: посвятить несколько недель очистке бензола, хлорбензола, хлорфенолов, аминифенолов и толуидина.

После нескольких часов общения я уже много знал об ассистенте: ему было тридцать лет, он недавно женился, приехал в Турин из Триеста (хотя вообще-то по происхождению был греком), знал четыре языка, любил музыку, Хаксли, Ибсена, Конрада и моего дорого-

* Ларс Онзагер (1903—1976) — американский ученый норвежского происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии 1968 г.

го Томаса Манна. Еще физику, но с подозрением относился к любой деятельности, ставившей перед собой какие-либо цели, поэтому всем своим аристократически ленивым существом ненавидел фашизм.

Его отношение к физике меня озадачило. Он не замедлил сразить влет мою последнюю мечту, подтвердив словами то, что мы читали в его глазах на занятиях: оказывается, не только наши скромные упражнения по физике, но сама физика по своей природе, по своему назначению — ерунда, потому что устанавливает нормы для зримого космоса, в то время как истинная, реальная, сокровенная сущность вещей и человека скрыта под покровом (или под семью покровами, я точно не помню). Он физик, точнее, астрофизик, работает много и с душой, но иллюзий не строит. Истина находится в других пределах, она недоступна нашим телескопам, ее могут постичь лишь посвященные. Но путь к ней долог, и он идет по этому пути, идет с трудом, но и с восторгом, с великой радостью. Физика — это проза, утонченная гимнастика для ума, отражение мироздания, ключ к господству человека над планетами; но что такое на самом деле Мироздание, Человек, Планеты? Пока он только в начале пути, и, если я, его ученик, хочу идти с ним, он будет рад.

Предложение ассистента смутило меня. Опыта отношений ученика с учителем у меня еще не было,

поэтому я обрадовался, получив подтверждение, что наши отношения могут стать взаимными: это сулило ежеминутное наслаждение, прямо-таки безоблачное счастье. Я, еврей, оказавшийся в силу последних событий в безнадежной изоляции, враг насилия, еще не втянутый в водоворот ответного насилия, мог стать для него идеальным слушателем, чистым листом, на котором он писал бы все, что ему захочется. Но немцы в это время разрушали Белград, подавляли сопротивление греков, высаживали парашютные десанты на Крит, и истина, реальная истина была там. Лазеек не оставалось, во всяком случае, для меня, и я не ухватился за крылатую мечту, предложенную мне ассистентом. Лучше синица в руке, чем журавль в небе; лучше готовиться к неведомому, впрочем, не обещавшему ничего хорошего будущему, экспериментировав с диполями и очищая бензол, чем витать в облаках.

Очищение бензола в условиях войны и бомбардировок тоже было делом нелегким. Ассистент предоставил мне полную свободу действий: я мог перерывать весь факультет в поисках того, что мне нужно, но приобретать новое права не имел. Даже он в тогдашних условиях абсолютной автаркии не имел такого права.

Я нашел в подвале бутылку 95-процентного технического бензола — лучше, чем ничего. Если верить учебникам, его требовалось подвергнуть перегонке,

а затем, чтобы освободить от последних следов влаги, дистиллировать вторично, уже с использованием натрия. Перегонять (или дистиллировать, что одно и то же) следовало дробно, отбраковывая фракции с температурой кипения ниже или выше положенной, пока в процессе разделения не будет достигнута та единственная температура кипения, которой соответствует температуре кипения чистого бензола. Все в той же подвальной сокровищнице нашел я и подходящую стеклянную посуду, в том числе ректификационные колонки Вигрэ, изящные, как произведения искусства, плод сверхчеловеческого терпения высококлассных стеклодувов, но (между нами говоря) не очень эффективные. Водяную баню я соорудил сам из алюминиевой кастрюли.

Перегонка — приятное занятие: неторопливое, философское, молчаливое, оно напоминает езду на велосипеде, потому что требует внимания, но позволяет думать и о другом. Еще перегонка — это постоянные изменения: жидкость становится невидимым паром, пар становится снова жидкостью; но этим двойным превращением, этим движением отсюда туда и оттуда сюда достигается чистота — поразительное и в то же время сомнительное понятие, которое идет от химии и может увести очень далеко. Наконец, приступая к перегонке, надо помнить, что ты повторяешь освященный веками ритуал, почти религиозный обряд, в процессе которого из несовершенной

материи получаешь самое существенное, что в ней есть, — спирт, в первую очередь — алкоголь, который веселит душу и греет сердце. Я потратил целых два дня, чтобы получить фракцию удовлетворительной чистоты. Для этой процедуры, учитывая, что я работал с открытым огнем, я добровольно заточил себя в пустую комнатушку на втором этаже, полностью изолированную от внешнего мира.

Теперь мне предстоял заключительный этап — дистилляция с использованием натрия. Натрий — выродившийся металл, можно даже сказать, металл лишь по названию, по своей химической классификации, а не в обычном понимании этого слова. Он не просто не твердый, он мягкий, как воск, и неблестящий; вернее, он серебристо-белый, если хранится со строгим соблюдением всех мер предосторожности, но стоит ему соприкоснуться с воздухом, он вмиг покрывается отвратительной шершавой кожурой. Столь же молниеносно он реагирует и с водой, всплывая над ее поверхностью (металл, который плавает в воде!), приходя в неистовое движение и бурно освобождая водород. Перерыв весь факультет, я нашел десятки пузырьков с этикетками, как Астольф на Луне*, сотни мудреных составов, склянки, к

* Персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Орланд», побывавший на Луне, где среди прочих склянок обнаружил склянку с разумом Орланда.

которым, судя по осадку, оставшемуся от неизвестного содержимого, никто не прикасался на протяжении многих лет, но натрия не нашел. Зато обнаружил калий. Калий и натрий — братья-близнецы, поэтому я забрал пузырек с калием и вернулся в свое убежище.

В колбу с бензолом я положил комочек калия размером с полгорошины (точно по учебнику) и тщательно дистиллировал содержимое. В конце операции, как положено, я погасил огонь, разобрал прибор, подождал, пока оставшаяся в колбе влага немного остынет, и затем, проткнув острием длинного железного прута комочек (полгорошины), извлек его наружу.

Калий, как я уже говорил, близнец натрия, но с воздухом и водой реагирует гораздо энергичнее, чем его брат. Всем известно (в том числе и мне), что при контакте с водой он не только освобождает водород, но и воспламеняется. Поэтому я обращался со своей половинкой горошины как с реликвией: положил ее на кусочек сухой фильтровальной бумаги, завернул, спустился во двор, выкопал крошечную могилку и закопал в нее крошечный трупик бесноватого калия. Мало того, я еще тщательно утрамбовал сверху землю и только после этого вернулся к своей работе.

Пустую колбу я поставил в раковину и открыл кран. Послышался короткий хлопок, из горла колбы

поднялся столб пламени, и тут же на окне, находившемся рядом с раковиной, загорелись занавески. Пока я метался, ища что-нибудь подходящее для тушения, начали поджариваться ставни, и все помещение наполнилось дымом. Наконец я подставил к окну стул, сорвал занавески, бросил их на пол и начал яростно топтать ногами. Кровь бешено стучала у меня в висках.

Когда все кончилось и последние очаги горения были потушены, я словно окаменел и несколько минут стоял посреди учиненного разгрома, ничего не видя, не чувствуя и не понимая. Придя наконец в себя, я на трясущихся ногах спустился на первый этаж и рассказал о случившемся ассистенту. Если верно, что нет ничего горше, чем вспоминать о счастливых моментах в трудные времена, то так же верно и то, что грустные воспоминания в спокойные минуты, когда сидишь за письменным столом, доставляют душе глубокое умиротворение.

Ассистент выслушал мой отчет с вежливым вниманием, в котором сквозило любопытство: кто, мол, тебя заставлял пускаться в опасное плаванье и с таким рвением дистиллировать бензол? Сам виноват! Такое могло случиться только с профаном, вроде тех, что веселятся перед дверями храма вместо того, чтобы войти внутрь. Но вслух ассистент не сказал ничего, напомнив (как всегда, будто против воли) о разделяющей нас дистанции; он только заметил, что

пустая колба воспламениться не могла, значит, она не была пустой. В ней должны были находиться остатки паров бензола и, само собой разумеется, воздух, проникший в колбу через горловину. Но где это видано, чтобы пары бензола, причем холодные, непроизвольно воспламенялись? Только калий способен был зажечь смесь, но калий ведь был изъят. Полностью, я уверен?

Полностью, ответил я, и тут меня охватили сомнения. Я вернулся в свою комнатку и, подобрав с пола осколки колбы, стал их внимательно разглядывать. На одном было почти микроскопическое белое пятнышко. Я проверил его фенолфталеином: это был гидроксид калия. Итак, виновник найден! Приставшего к стеклу крошечного кусочка оказалось достаточно, чтобы налитая в колбу вода вступила в реакцию и воспламенила пары бензола.

Ассистент смотрел на меня насмешливо, я его явно развеселил. Лучше не делать, чем делать, прочел я в его взгляде, лучше размышлять, чем действовать, лучше его астрофизика, стоящая на пороге Непознаваемого, чем моя вонючая химия со взрывами и ничтожными дурацкими фокусами. Я же думал иначе, и с моей, более земной и конкретной позицией согласится, думаю, любой профессиональный химик: «почти одинаковые» не значит «одинаковые» (натрий почти то же самое, что и калий, но с натрием не случится то, что случается с калием); «практически

идентичные» не значит «идентичные». Не следует доверять всякого рода «приблизительно» «либо—либо», суррогатам и подменам. Различия могут быть мизерными, зато последствия — непредсказуемыми, они способны увести далеко, как железнодорожная ветка. Профессия химика по большому счету и состоит в умении замечать эти ничтожные различия, распознавать их, учась на собственном опыте, предвидеть последствия. Впрочем, это относится не только к профессии химика.

НИКЕЛЬ

В ящике моего стола лежал разукрашенный виньетками пергаментный лист, на котором красивыми буквами было написано, что Примо Леви, еврей по национальности, с отличием окончил химический факультет Туринского университета. Этот диплом был двусмысленным документом: он свидетельствовал о победе и унижении, об оправдании и приговоре. В ящике он пролежал с июля до ноября тысяча девятьсот сорок первого года. Мировая катастрофа уже разразилась, но вокруг меня ничего не происходило. Немцы были в Польше, Норвегии, Голландии, Франции и Югославии; легко, как нож в масло, проникли в глубь русских равнин. Соединенные Штаты и пальцем не пошевелили, чтобы помочь англичанам, и те сражались в одиночестве. Я не мог получить работу и уже отчаялся найти хоть какой-нибудь заработок. За стеной лежал истощенный раком отец, ему оставалось жить несколько месяцев.

Раздался звонок в дверь. На пороге стоял высокий худой молодой человек в форме лейтенанта ко-

ролевской армии, и я сразу понял, что передо мной вестник — то ли проводник душ Меркурий, то ли, если угодно, Божий посланец архангел Гавриил, короче говоря, тот, кого каждый, сознательно или бессознательно, ждет и кто приносит небесное послание, меняющее твою жизнь, а в какую сторону, в лучшую или худшую, ты не знаешь и узнаешь, лишь когда он откроет рот.

Он открыл рот и с сильным тосканским акцентом спросил доктора Леви, то есть, как ни странно, меня, еще не привыкшего к уважительному титулу дипломированного специалиста, и, представившись, предложил мне работу. Кто его послал ко мне? Другой Меркурий — Казелли, неутомимый страж чужой славы: мой диплом с отличием все же чего-то стоил.

Лейтенант дал понять, что знает о моем еврейском происхождении (да и моя фамилия, в конце концов, не оставляла на этот счет никаких сомнений), но не придает ему никакого значения. Больше того, казалось, что ему даже нравится, доставляет утонченное злорадное удовольствие нарушать законы сегрегации, что втайне он мой сообщник и ищет сообщника во мне.

Работа, которую он предлагал, была таинственна и увлекательна. «В одном месте» находится рудник, где добывают «нечто» (он не сказал что) полезное. Это «нечто» составляет всего два процента от всей массы руды, а девяносто восемь процентов, так назы-

ваемая пустая порода, сваливается тут же под горой. В этих отходах есть никель; немного, но, учитывая его высокую цену, вторичная переработка руды должна себя оправдать. У него идея, вернее, куча идей, но он на военной службе, свободным временем почти не располагает, и я должен подменить его, проверить в лабораторных условиях эти его идеи, и потом, если все получится, вместе с ним реализовать их в промышленных масштабах. Ясно, что для этого я должен переехать в то самое «одно место», которое он в общих чертах мне описал, причем мой переезд требует соблюдения строжайшей секретности. Во-первых, в целях моей безопасности никто не должен знать ни моего настоящего имени, ни моего «позорного» происхождения, потому что «одно место» находится под контролем военных властей; во-вторых, в целях безопасности дела я должен поклясться честью, что никому не скажу ни слова. Ясно, что первая тайна была тесно связана со второй и мое незаконное положение играло ему на руку.

В чем состоит его идея и где это место? Лейтенант извинился, что до получения моего согласия он по вполне понятным соображениям не может делиться со мной своими идеями, что же касается места, оно находится в нескольких часах езды от Турина. Я быстро посоветовался со своими. Они дали согласие: из-за болезни отца в семье была острая нужда в деньгах. Сам же я не колебался ни минуты, поскольку был из-

мучен бездействием, уверен в своих знаниях и мечтал проверить их на практике. Кроме того, лейтенант меня заинтриговал и мне понравился.

Форму он носил с отвращением, это бросалось в глаза. Похоже, свой выбор он остановил на мне не только из-за моего отличного диплома. О фашизме и войне он говорил уклончиво, с хорошо знакомой мне язвительной веселостью. Эта веселость с оттенком иронии была свойственна целому поколению итальянцев — достаточно умных и честных, чтобы не принимать фашизм, но слишком скептически настроенных, чтобы активно ему противостоять, слишком молодых, чтобы осознавать надвигающуюся трагедию и предвидеть безнадежность будущего. К этому поколению мог бы принадлежать и я, если бы не были введены расовые законы, благодаря которым я быстро повзрослел и понял, что стою перед неизбежным выбором.

Получив мое согласие, лейтенант не стал тратить времени даром и назначил мне на завтра встречу на вокзале. Что мне взять с собой? Да никаких особых приготовлений не нужно: документы, конечно, ни в коем случае (я буду работать инкогнито или под вымышленным именем, там будет видно), только теплую одежду, подойдет та, что носят в горах, рабочий халат, книги, если мне хочется. Жизнь там налажена, у меня будет комната с отоплением, лаборатория, регулярное питание в компании рабочих и коллег, все

люди очень милые, но он не советует мне вступать с ними в слишком доверительные отношения по вышеизложенным причинам.

На следующий день мы отправились в путь. Сойдя с поезда, пять километров поднимались к руднику через одетый сверкающим инеем лес. Лейтенант производил впечатление человека делового, он кратко отрекомендовал меня директору, молодому рослому инженеру крепкого телосложения, который показался мне еще более деловым и, судя по всему, был в курсе моей ситуации. В лаборатории, куда меня отвели, находилась странная особа — крупная девица лет восемнадцати с огненно-рыжими волосами и зелеными раскосыми глазами, которые смотрели на меня с недобрым любопытством. Как выяснилось, это была моя помощница.

В порядке исключения меня в первый день пригласили обедать в помещение конторы, и во время обеда по радио передали сообщение о нападении японцев на Перл-Харбор и об объявлении Японией войны Соединенным Штатам Америки. Мои сотрапезники (несколько сотрудников, не считая лейтенанта) реагировали на известие по-разному: одни, в том числе и сам лейтенант, сдержанно, бросая настояренные взгляды в мою сторону; другие озабоченно, а кое-кто с воинственной верой в многократно доказанную непобедимость японской и немецкой армий.

«Одно место» наконец-то локализовалось в пространстве, не потеряв при этом своей волшебной притягательности. Во всех рудниках есть что-то волшебное, так повелось с древних времен. В недрах земли копошатся гномы, кобольды (кобальт!), никели (никель!), которые могут проявить великодушие и позволить тебе найти сокровище под ударом кирки или обвести тебя вокруг пальца, обмануть, заставить принять за сверкающее золото скромный пирит, замаскировать под цинк олово, недаром названия многих минералов восходят к словам «обман», «мошенничество», «ослепление».

Этот рудник тоже таил в себе волшебство, в нем было какое-то дикое очарование. В центре невысокого голого холма с острыми скалистыми уступами и сухостоем разверзалась огромная конусообразная бездна, искусственный кратер диаметром в сорок метров, в точности повторявший своими очертаниями схематические изображения ада на синоптических таблицах «Божественной комедии». По его кругам день за днем закладывали и взрывали мины. Уклон стенок конуса делался с таким расчетом, чтобы взорванная порода скатывалась на дно с не слишком большой скоростью. Внизу, над обиталищем Люцифера, лежала прочная железная заслонка, закрывавшая люк в короткий вертикальный колодец, от которого тянулась длинная горизонтальная галерея, выходившая на склон холма, где располагалось пред-

приятие. В галерее курсировал бронированный поезд; маленький, но мощный локомотив подгонял вагоны к колодцу один за другим и после загрузки через люк вывозил их на свет.

Предприятие было построено террасами, ниже выхода из галереи. Сюда порода поступала уже измельченной в гигантской камнедробилке, которую директор мне сначала описал, а потом показал с почти детским восторгом. Камнедробилка была похожа на перевернутый колокол или гигантский цветок въюнка, отлитый из стали. В центре раскачивался огромный язык (или пестик), приводимый в движение снизу; амплитуда его колебаний была небольшой, едва заметной, но вполне достаточной, чтобы в мгновение ока расколоть крупные камни, сыпаемые из вагонов в эту воронку четырехметровой ширины. Застрявшие в горловине камни раскалывались еще и еще, пока не превращались в куски размером с человеческую голову. Операция эта сопровождалась неимоверным грохотом и выбросом в воздух такого количества пыли, что пыльное облако видно было даже с равнины. Затем порода перемалывалась вторично, превращалась в гравий, сушилась и сортировалась. После этого оставалось совсем немного до конечной цели этой циклопической работы, до извлечения запертых в камне двух процентов полезного вещества, а именно асбеста. Отработанная порода, тысячи тонн в день, сбрасывалась, как попало, вниз.

Год за годом долина постепенно заполнялась пылью и гравием. Остатки асбеста придавали этой массе скользкую вязкость, делая ее похожей на ледник. Огромный серый язык с черными пятнами валунов тяжело, грузно съезжал каждый год метров на десять. Давление, которое оказывала эта масса на склон, было так велико, что провоцировало образование глубоких скальных трещин, а близлежащие строения смещались на несколько сантиметров в год. В одном из таких строений, прозванном за свой спокойный дрейф «подводной лодкой», я и поселился.

Асбест был повсюду, он походил на пепельный снег. Стоило на несколько часов оставить на столе открытую книгу, как страницы превращались в негатив. Пыль, густым слоем покрывавшая крыши, во время дождя напитывалась водой, точно губка, а потом с грохотом сползала вниз. Начальник рудника по имени Антео, тучный великан с густой черной бородой, который и вправду, казалось, берет силу от матери-земли, как греческий Антей, рассказал мне, что несколько лет назад сильный дождь смыл в кратер много тонн асбеста и тот спрессовался на дне и закупорил люк. Никто не придумал этому значения, но дождь продолжал идти, вода стекала по склонам, наполняя гигантскую воронку, и, даже когда образовалось озеро двадцатиметровой глубины, никто не забеспокоился. Он, Антео, понял, что дело плохо, и настойчиво просил тогдашнего директора принять

меры. Будучи человеком опытным, он склонялся к тому, чтобы заложить подводную мину и, не теряя времени, взорвать ее на дне образовавшегося озера. Но затея эта была опасной, можно было повредить заслонку люка, поэтому он не хотел брать на себя ответственность и ждал решения администрации, которая тоже боялась взять на себя ответственность.

Пока умные головы думали, пока то да се, рудник своей злой волей все решил сам. Послышался рев, пробку пробило, и вода хлынула в колодец, из колодца в галерею, снесла локомотив со всеми вагонами, причинила большой урон постройкам. Антео показал мне следы наводнения: поток был высотой в добрых два метра.

Рабочие и рудокопы (на местном диалекте их называют «*i minori*») ходили на работу каждый день из окрестных деревень по горным тропам, дорога занимала у них около двух часов. Служащие жили на месте. Хотя рудник находился всего в пяти километрах от долины, существовал он автономно, как независимая республика. В те времена карточной системы и черного рынка здесь наверху недостатка в продовольствии не было; все как-то устраивались, у всех все было. Многие служащие развели огороды вокруг квадратного административного здания, а некоторые даже обзавелись курятниками. Случалось, курица одного забиралась в огород другого, и начинались нудные разбирательства, склоки; даже не верилось, что в та-

ком серьезном месте, при таком волевом директоре возможно что-то подобное. Впрочем, директор решил эту проблему, и решил ее довольно оригинальным способом. Велев купить для него двустволку, он повесил ее на гвоздь в своем кабинете. Если кто-нибудь видел из окна у себя на огороде чужую курицу и та явно наносила урон его посадкам, он имел право снять с гвоздя ружье и выстрелить в нее два раза. Если курица погибала на месте, стрелок по установленному закону брал ее себе. В первые дни после введения чрезвычайного положения наблюдалась частая беготня в кабинет директора за ружьем и слышалась пальба, а незаинтересованные сотрудники тем временем заключали пари, но постепенно нарушения границ прекратились.

Мне рассказывали и другие удивительные истории, например про собаку синьора Пистамильо. К моему приезду синьора Пистамильо уже давно не было на руднике, но память о нем жила и, как обычно случается, успела покрыться благородной патиной легенды. Синьор Пистамильо был отличным начальником участка; холостяк средних лет, человек благожелательный, он пользовался всеобщим уважением. И его собаку, прекрасную немецкую овчарку с безупречной репутацией, также все уважали.

Однажды под Рождество в деревне, расположенной в долине, пропали четыре самых жирных индюшки. Подумали, воры украли или волки унесли.

До следующей зимы все было тихо-спокойно, но в конце ноября или в начале декабря пропали уже семь индюшек. Заявили в полицию, но тайна так и не прояснилась бы, если бы синьор Пистамильо, будучи в подпитии, сам не проговорился. Оказалось, индюшек воровали он и его собака. Вдвоем. В воскресенье он водил собаку в деревню, гулял с ней вокруг крестьянских дворов и обращал ее внимание на хороших и не слишком охраняемых хозяевами индюшек. В каждом отдельном случае требовалась особая стратегия, и он растолковывал ее собаке. Затем он возвращался на рудник, а ночью отпускал собаку, и та бежала в деревню, незаметно прокрадывалась вдоль домов, перепрыгивала, как настоящий волк, загородки птичников или подкапывалась снизу, молча хватала индюшку и приносила ее сообщнику. Синьор Пистамильо их не продавал; по наиболее достоверным сведениям, он дарил их своим немолодым некрасивым любовницам, которых у него по всему Пьемонтскому предгорью было великое множество.

Каких только историй я не наслушался! Создавалось впечатление, будто все пятьдесят обитателей рудника связаны друг с другом попарно, как при комбинаторном анализе; иначе говоря, каждый с каждым из всех остальных, особенно каждый мужчина с каждой из женщин, замужней и незамужней, и каждая женщина с каждым из мужчин. Стоило назвать наобум два имени, лучше одно мужское и одно жен-

ское, и спросить третьего: «В каких они отношениях?» — как тут же следовала какая-нибудь потрясающая история, потому что здесь все всё про всех знали. Странно, что все эти истории, часто запутанные и всегда интимные, с такой охотой рассказывались именно мне, человеку, который не мог ничего подобного рассказать в ответ, даже имени своего настоящего назвать. Но такова уж моя планида (о чем я совсем не жалею): мне всегда много всего рассказывают.

В разных вариантах я слышал одну историю из давно прошедших времен, случившуюся задолго до синьора Пистамильо, когда в кабинетах администрации рудника царили порядки Содома и Гоморры. В ту легендарную эпоху каждый вечер, когда в пять тридцать взывала серена, никто из служащих не уходил домой. По этому сигналу между столами расстилались матрацы, появлялись крепкие напитки, и началась оргия, в которой участвовали все, начиная от тогдашнего директора до совсем молоденьких машинисток, лысеющих бухгалтеров и инвалидов-сторожей. Скука монотонной работы на руднике сменялась безмерной распушенностью, повальным грехом, межклассовым, публичным соитием. Прямых свидетельств не сохранилось, ни одного из участников этих оргий к нашему времени уже не осталось: происшедшие на руднике безобразия вынудили миланское начальство принять суровые меры по оздоровлению кадров. Нет, один свидетель все же имелся, это была

синьора Бортолассо. Она уверяла меня, что все знала, все видела, но говорить об этом стыдится.

Синьора Бортолассо вообще почти не говорила, только по делу. До того как она стала называться синьорой Бортолассо, ее звали Джина делле Бене. В девятнадцать лет, работая на руднике машинисткой, она влюбилась в рудокопа — молодого, худого, рыжего парня, который не отвечал ей взаимностью, но всем своим видом показывал, что принимает ее любовь. Ее родственники были настроены против него; они оплатили ее учебу, и она в благодарность за это должна была найти себе хорошую партию, а не заводить шашни с первым встречным. И если девчонка этого не понимает, они сами за нее решат. Так что пусть бросает своего рыжего или убирается из дома.

Джина готова была ждать (ей не хватало двух лет до совершеннолетия), но рыжий ждать не стал. В одно прекрасное воскресенье она увидела его с другой, потом с третьей, и, в конце концов, он женился на четвертой. Тогда Джина поклялась: раз она не смогла привязать к себе единственного дорогого ей мужчину, то другим она тоже принадлежать не будет. Нет, уходить в монастырь она не собиралась, у нее были современные взгляды, но она отказалась от брака, выбрав для этого изощренный и безжалостный способ — замужество. Джина была хорошим работником, администрация ценила ее за ум, усердие, собранность, и вдруг все, и родители, и сотрудники,

узнают, что она собирается выйти замуж за Бортолассо, местного дурачка.

Этот Бортолассо числился на руднике садовником. Не очень молодой, сильный, как мул, и грязный, как свинья, он на самом деле не был дурачком в полном смысле этого слова, а скорее принадлежал к тому типу людей, про которых в Пьемонте говорят, что они прикидываются дураками, чтобы не платить за соль. Пользуясь своим иммунитетом слабоумного, он выполнял порученные ему обязанности с нарочитой небрежностью, в которой можно было усмотреть хитрость примитивного существа: вы, мол, постановили, что я не отвечаю за свои поступки, вот теперь и терпите меня такого, какой я есть, содержите меня, заботьтесь обо мне.

В дождливую погоду асбест намокает, и его труднее извлекать, поэтому без плювиометра (прибора, регистрирующего количество влаги) на руднике не обойтись. Бортолассо, каждое утро поливавший клумбы, имел обыкновение поливать заодно и плювиометр, способствуя тем самым значительному удорожанию производственного процесса. Директор, который всегда лично следил за показаниями плювиометра, заметил это (правда, не сразу) и запретил Бортолассо поливать прибор. «Выходит, ему нравится, когда сухо», — заключил садовник и после каждого дождя открывал нижний клапан и спускал набравшуюся воду.

Ко времени моего появления на руднике Джине, уже синьоре Бортолассо, было лет тридцать пять. Ее лицо с его неброской красотой застыло в неподвижную маску, отмеченную печатью затянувшейся девственности. Она и в самом деле продолжала оставаться девственницей, о чем знали все, потому что Бортолассо всем об этом рассказывал. Таковы были условия их брака, и он на них согласился, тем не менее почти каждую ночь он пытался проникнуть в постель жены. Она яростно защищалась и стойко держала оборону: никогда к ней не прикоснется ни один мужчина, тем более этот.

Ночные баталии несчастных супругов стали для рудника притчей во языцех, одним из немногих развлечений. Как-то ночью, когда на улице потеплело, группа болельщиков отправилась к их дому послушать, что там происходит, и позвали меня к ним присоединиться. Я отказался, а они очень скоро вернулись разочарованные: из дома слышались лишь звуки тромбона, выводившего мелодию «Черной мордашки»*: оказалось, Бортолассо не просто дурак, а дурак музыкальный (встречаются и такие); игра на тромбоне помогала ему освободиться от нерастратченной энергии.

* «*Facetta nera*» — популярная фашистская песня времен военной кампании в Эфиопии.

В свою работу я влюбился с первого дня, хотя поначалу пришлось заниматься лишь количественным анализом образцов породы. Беру плавиковую кислоту, осаждаю железо аммиаком, никель—диметилглиоксимом (крошечная красная крупица в осадке, как мало!), магний—фосфатом. Каждый день одно и то же, честно говоря, не очень увлекательно. Увлекательно и необычно другое: анализируемый образец из безликой песчинки превращается в разгаданный кроссворд, в частицу земного вещества, выброшенного взрывом мины на поверхность. Постепенно в результате ежедневных анализов рождалась карта, на которую я наносил узоры подземных жил. Впервые после семнадцати лет учебы, после всех этих греческих глаголов и пелопоннесских войн полученные знания начинали приносить плоды. Количественный анализ из рутинного и занудного занятия превращался в живое, настоящее, полезное дело, которое должно было послужить важной, вполне конкретной цели. Он был необходим, как фрагмент мозаики, он был частью общего плана. Аналитический метод, которым я пользовался, уже не был книжной догмой, я проверял его ежедневно, улучшал, оттачивал, приспособлял к нашим задачам, ломал себе голову, экспериментировал, ошибался. Но ошибиться уже не значило допустить досадный ляп, за который тебе на экзамене снизят оценку; ошибиться теперь было почти то же самое, что ошибиться в горах,

где точный расчет, собранность, правильно выбранная опора при подъеме помогают набраться опыта, закалиться.

Лаборантку звали Алида. Она не разделяла моего энтузиазма неофита и помогала мне безо всякого интереса, даже с каким-то раздражением. Меня, напротив, ее присутствие в лаборатории не раздражало. Она окончила лицей, могла процитировать Пиндара и Сафо, ее отец был одним их местных начальников, вполне, впрочем, безобидным. Хитрая и ленивая, она ничем не интересовалась, тем более анализом породы; эту работу, которой ее научил лейтенант, она выполняла чисто формально. Как и все здесь, Алида была связана отношениями со многими и охотно выдавала мне свои тайны, а я их слушал, продолжая исполнять навязанную мне роль исповедника поневоле, о которой уже говорил. Она ссорилась со многими женщинами, своими соперницами, была влюблена понемногу во многих, во всяком случае, больше чем в одного, считалась невестой совсем другого, честного скромного незаметного сотрудника технического отдела, своего односельчанина, выбранного для нее родителями. Как и все остальное, это ей тоже было безразлично. Ничего не поделаешь! Не бунтовать же, не сбегать из дома! Она девушка из порядочной семьи, ее будущее — дети и кухня. Сафо и Пиндар остались в прошлом, никель — пустая трата времени. Она работала спустя рукава в ожидании не слишком

желанной свадьбы, мыла кое-как химическую посуду, взвешивала никель с диметилглиоксимом, и мне нелегко было убедить ее не завышать результаты анализов, что она, по ее признанию, делала частенько, чтобы порадовать директора, лейтенанта и меня, потому что, как она говорила, кроме нас троих, это никому не нужно.

Да и чего в ней такого особенного, в этой самой химии, над которой бьемся мы с лейтенантом? Та же вода, тот же огонь, как в кухне, и больше ничего. Только стряпня получается не такая аппетитная и пахнет противно, не то что домашняя. В остальном — никакой разницы. Здесь тоже приходится надевать фартук, смешивать продукты, беречь руки от ожогов, прибираться в конце дня и мыть посуду.

Алида слушала рассказы о моей туринской жизни с благоговейным сочувствием, к которому примешивалась доля итальянского скептицизма. Это были рассказы с купюрами, потому что и она, и я должны были соблюдать правила игры в мою анонимность, однако кое-что все же всплывало наружу. Спустя несколько недель я заметил, что не являюсь больше безымянным: я стал доктором *Леви*, хотя, чтобы не создавать лишних проблем, не должен был так именоваться ни в глаза, ни за глаза. На руднике, в царившей здесь атмосфере сплетен и терпимости, нестыковка моего не совсем законного положения с законопослушным поведением бросалась в глаза и,

как мне донесла Алида, обсуждалась и интерпретировалась всеми, включая агентов ОБРА* и самых высоких начальников.

Спускаться в долину было сложно и не совсем благоразумно; из-за того что мне не положено было ни с кем вступать в близкие отношения, вечера тянулись бесконечно. Иногда после сирены я задерживался на несколько часов в лаборатории, иногда возвращался туда после ужина, чтобы позаниматься или поразмышлять о никеле, но чаще всего, закрывшись в своей монашеской келье, читал «Былое Иакова»**. Лунными ночами я совершал одинокие прогулки по диким окрестностям, доходил до края кратера или поднимался на серый гребень отработанной породы, которая подрагивала и поскрипывала, словно в глубине и в самом деле обитали трудолюбивые гномы. Из тонущей в темноте долины доносилось завывание собак.

Эти блуждания отвлекали меня от печальных мыслей об умирающем отце, о капитуляции американцев на полуострове Батаан, о вторжении немцев в Крым, вообще от ощущения, что я в западне, которая вот-вот захлопнется; в то же время я чувствовал, что между природой и мной складываются новые отно-

* Политическая полиция в фашистской Италии, выполнявшая репрессивные функции.

** Имеется в виду роман Томаса Манна, ставший впоследствии первой частью тетралогии «Иосиф и его братья».

шения — более естественные, чем в школьные годы, когда знакомство с ней носило риторический характер. Эти заросли ежевики, эти камни были моим прибежищем, моей свободой; свободой, которую очень скоро я мог потерять. Мимолетное, щемящее чувство нежности вызывали не знавшие покоя скалы, с которыми я был связан двойными узами: узами альпиниста, товарища Сандро по горным вылазкам, и узами химика, мечтавшего отнять у них сокровище. Плодом моей каменной любви, моего асбестового одиночества стали два рожденные долгими вечерами рассказа об островах и свободе — самые первые в жизни, которые я осмелился написать после внушавших мне страх школьных сочинений. Один был фантазией о моем далеком предшественнике, охотнике за свинцом и никелем, на другой меня вдохновили острова Тристан-да-Кунья, сведения о которых именно в тот период жизни попались мне на глаза.

Лейтенант, служивший в Турине, приезжал на рудник только раз в неделю. Он проверял сделанную работу, давал указания и советы, свидетельствовавшие о глубоком знании химии и несомненном исследовательском таланте. Когда закончился короткий подготовительный период, к ежедневной рутинной работе добавилась и творческая.

Никель в отработанной породе был, правда, в мизерном количестве: по результатам наших анализов

в среднем всего 0,2 процента. Если сравнивать с железной рудой, добываемой моими коллегами-соперниками на другом краю света, в Канаде или Новой Каледонии, то и говорить-то не о чем. А что, если попытаться нашу руду обогатить? Под руководством лейтенанта я испробовал все возможные способы: магнитное разделение, размалывание, просеивание, флотацию, воздействие тяжелыми жидкостями. Результат нулевой: никель не концентрируется, во всех полученных фракциях его содержание остается на исходном уровне. Природа не идет нам навстречу, из чего можно заключить, что никель соединяется с двухвалентным железом, сопровождает его неотступно, как тень, как младший брат старшего, замещает его, как викарий замещает на земле Христа. Что бы мы ни делали, постоянное соотношение не менялось: 0,2 процента никеля приходилось на 8 процентов железа. Мы с лейтенантом испробовали все реактивы, способные воздействовать на никель, причем в дозах, превышающих положенные в сорок раз. И это не считая магнезии. С экономической точки зрения — занятие безнадежное. В минуты усталости я чувствовал враждебность, холодную, почти взнезменную отчужденность окружающих меня скал. В отличие от них деревья в долине, уже одетые в весенний наряд, походили на людей; они не умеют говорить, но в остальном — как мы: чувствуют тепло и холод, радуются и страдают, рождаются и умирают.

рают, тянутся к солнцу, отдают на волю ветра семена. Другое дело — камень; он не вбирает в себя энергию, потому что давным-давно потух, еще в незапамятные времена; в своей пассивной враждебности он словно мощная крепость, которую мне предстоит разрушать бастион за бастионом, чтобы поймать чертенка, капризного никеля Николао, который прячется, уклоняется, отскакивает то в одну, то в другую сторону, злорадствует и постоянно прислушивается, чтобы при первом же ударе кирки броситься наутек, оставив тебя с носом.

Правда, времена чертят, никелей и кобольдов давно прошли. Мы — химики, а значит, охотники, и у нас «два опыта взрослой жизни», как говорил Певзе, — удача и неудача, убить белого кита или потопить корабль. Нельзя сидеть сложа руки, нельзя сдаваться; разгадывая загадки материи, мы будем ошибаться и поправлять себя, получать удары и наносить их. Нельзя признаваться в собственной беспомощности; природа сложна и безгранична, но ей не устоять перед интеллектом человека: главное — искать, искать без устали, и тогда непременно найдешь.

Наши еженедельные совещания с лейтенантом больше походили на военные советы. Среди многих, проводимых нами экспериментов был и вариант восстановления никеля с помощью водорода. Мы клали тонко измельченный материал в фарфоровую кювету, кювету помещали в кварцевую трубку, труб-

ку раскаляли снаружи и пропускали по ней водород в надежде, что он отберет кислород у никеля и восстановит его в виде чистого металла, а поскольку никель, как и железо, намагничивается, его легко будет потом отделить, пусть и вместе с железом, при помощи магнита. Однако наши надежды не оправдались: после воздействия мощного магнита на водяную взвесь мы обнаружили лишь следы железа. Неутешительный вывод напрашивался сам собой: в данном случае водород не восстанавливает никель, который, похоже, вместе с железом соединяется в прочную цепочку, притягивая к себе кремний и воду, и его (если можно так выразиться) это вполне устраивает, и ни в каких переменах он не заинтересован.

А что, если попробовать разорвать структурную формулу? Эта идея озарила меня, как вспышка молнии, когда совершенно случайно я обнаружил в лаборатории старую, покрытую пылью диаграмму. Диаграмму потери веса асбеста при температурных воздействиях составил один из моих безымянных предшественников, и она наглядно демонстрировала, что первая потеря воды (совсем немного) происходит при 150°C . По мере дальнейшего нагревания вес остается неизменным до 800°C , после чего резкий скачок вниз: потеря веса на целых 12 процентов! От руки приписано: «Становится хрупким». Но если асбест разлагается при 800°C , значит должна разрываться и структурная цепь. А поскольку химик думает и даже

живет по известным ему моделям, я нарисовал на бумаге длинные цепи кремния, кислорода, железа и магния с частицами уловленного никеля, а потом те же цепи после разрушения, в виде отдельных звеньев с никелем, который удалось наконец выманить из норы, чтобы атаковать. Я рисовал свои цепи, как первобытный человек рисовал на скалах антилоп — с надеждой, что предстоящая охота окажется удачной.

Лейтенанта на руднике не было, но он мог появиться в любую минуту, и я опасался, что он не одобрит мою гипотезу, найдет ее слишком смелой. На сомнения времени не оставалось, у меня буквально чесались руки: будь что будет, но я принимаюсь за дело немедленно.

Нет ничего более увлекательного, чем проверять гипотезы. Под недоверчиво-снисходительным взглядом Алиды, которая то и дело поглядывала на свои часы, поскольку до сирены оставалось совсем немного, я быстро собрал установку, термостат зафиксировал на отметке 800°C , отрегулировал редуктор на баллоне, установил на место флюксометр. Затем полчаса разогревал материал, уменьшил температуру, пустил на час водород. Уже стемнело. Алида давно ушла, в тишине слышалось жужжание транспортера, который не останавливался даже ночью. Я чувствовал себя наполовину конспиратором, наполовину алхимиком.

Когда время вышло, я извлек кювету из кварцевой трубы, дал ей остыть, потом разболтал порошок в во-

де: из зеленоватого он превратился в желтоватый, и это показалось мне хорошим предзнаменованием. Я взял магнит и опустил его в воду. Каждый раз, когда я вынимал его, он тянул за собой хвост коричневого порошка, примерно около одного миллиграмма. Я осторожно снимал его фильтровальной бумагой и откладывал отдельно. Чтобы добиться убедительных результатов, надо было набрать хотя бы полграмма материала, а это несколько часов работы. К полуночи я надеялся процесс отделения закончить и сразу же приступить к анализу. Учитывая, что фракция намагничена (а потому, скорее всего, бедна силикатами), а также что времени осталось мало, я после некоторых раздумий решился на упрощенный вариант, и к трем часам утра результат был готов: вместо красного облачка никеля с диметилглиоксимом — внушительный осадок. Фильтрую, мою, сушу, взвешиваю. Окончательные данные пылают огненными цифрами на счетной линейке: 6 процентов никеля, остальное — железо. Победа! Можно обойтись без дальнейших отделений и без проверки в электрической печи.

К себе на «подводную лодку» я вернулся уже на рассвете, с трудом подавляя желание немедленно разбудить директора, позвонить лейтенанту, скатиться кубарем с холма на луг, мокрый от ночной росы. Мысли роились в голове, одна безумнее другой.

Я думал о том, что, открыв одну дверь, смогу открыть и другие, может быть, даже все; что мне пер-

вому пришла в голову столь гениальная идея и никто, даже в Канаде, даже в Новой Каледонии, не смог до такого додуматься. Я чувствовал себя непобедимым перед лицом врагов, подступавших ко мне все ближе с каждым месяцем; я радовался, что взял реванш, отомстил тем, кто объявил меня биологически неполноценным.

Но о том, каким образом мой метод можно применить в производстве, я не подумал, как не подумал и о том, что никель пойдет на создание брони и снарядов для фашистской Италии и гитлеровской Германии. И еще я не вспомнил, что совсем недавно в Албании были открыты залежи никеля, по сравнению с которыми на наши жалкие запасы можно было просто наплевать, а заодно и на мой проект, и на директора рудника, и на лейтенанта.

Приехавший через несколько дней лейтенант доказал мне, что мой метод магнитного отделения никеля ошибочен по существу, а директор, разделявший поначалу мой энтузиазм, охладил к моей идее и охладил меня, объяснив, что не существует промышленных магнитных установок, способных отделять такой тонкий порошок, а для крупнозернистого материала мой метод не годится.

Но история на этом не заканчивается. Даже после либерализации торговли и падения цен на никель во всем мире слухи о несметных богатствах, сваленных

в той долине и доступных каждому, долго еще будоражили воображение. До сих пор в окрестностях того рудника можно встретить энтузиастов, не то химиков, не то алхимиков, которые по ночам набирают полные мешки горных отходов, чтобы потом молотить этот серый щебень, выпаривать, обрабатывать новейшими реактивами. Мечта о погребенном богатстве, о двух килограммах благородного серебристого металла, таящегося в тысяче килограммах отработанной и выброшенной горной породы, не умерла; она жива до сих пор.

Не исчезли и мои, написанные в ту пору, «минеральные» рассказы. Им выпала нелегкая судьба, как и мне: они пережили бомбардировки, эвакуацию; я считал их потерянными и, обнаружив случайно среди старых бумаг, не смог выбросить и включил в эту книгу. Среди историй, связанных с моей профессией химика, они как сны заключенного, мечтающего о побеге.

СВИНЕЦ

Меня зовут Родмунд, моя родина далеко отсюда, она называется Тьюда. Мы, по крайней мере, так ее называем, а наши соседи, точнее, враги называют ее иначе: кто Сакса, кто Немет, кто Аламан. Моя страна совсем не похожа на эту, в ней много лесов и рек, долгие зимы, болота, дожди и туманы. Все наши, я хочу сказать, те, кто говорят на нашем языке, — пастухи, охотники, воины; они не любят заниматься землей и презирают земледельцев, поэтому пускают стада на их поля, травят посевы, дома их разоряют, забирают женщин. Я сам не пастух, не воин и не охотник, хотя мое ремесло похоже на охоту. Оно связано с землей, но я не крестьянин, я свободный.

Мой отец и все у нас в роду по отцовской линии испокон века этим ремеслом занимались. Наше дело — искать тяжелые камни, иногда далеко от дома, раскалять их особым способом и добывать из них черный свинец. Недалеко от того места, где я жил, было месторождение таких камней, говорят, его открыл мой далекий предок, его звали Родмунд Голу-

бые Зубы. В моей деревне все мужчины занимаются кузнечным делом, знают, как плавить и обрабатывать свинец, но только мы, Родмунды, умеем находить камни со свинцом, безошибочно отличать их от многих других тяжелых камней, которыми боги засеяли горы, чтобы обмануть человека. Они проложили под землей жилы разных металлов, но прячут их от всех, не выдают. А того, кто найдет их, боги не любят, потому что он становится им как бы равней, и они стараются сбить его с толку. И нас, Родмундов, они не любят, но нам это все равно.

Я уже из пятого или шестого поколения того предка, что открыл месторождение, и теперь оно истощилось. Некоторые предлагали рыть галереи, чтобы узнать, куда идет жила, и уже начали копать на свой страх и риск, но потом прислушались к советам благоразумных людей и бросили это дело. Все отступились, все забросили ремесло, а я — нет. Как свинец без нас не может выйти на свет, так и нам без свинца жизни нет. Наше занятие приносит богатство, но рано сводит в могилу. Некоторые говорят, это потому, что металл проникает в кровь и мало-помалу съедает ее, а другие думают, что это боги так мстят, но только нам, Родмундам, не важно, что у нас жизнь короткая, зато мы богатые уважаемые люди и видим мир. Вообще-то, тому моему предку с голубыми зубами исключительно повезло, потому что месторождение возле деревни, которое

он открыл, было исключительно богатым; по большей же части мы, искатели, еще и путешественники. Да и сам он, как мне рассказывали, пришел издалека, из страны холодного солнца, которое никогда не заходит, где люди живут в ледяных домах, а в море там плавают чудовища длиной в тысячи шагов.

Вот и получилось, что после того, как шесть поколений прожили на одном месте, мне пришлось отправиться на поиски камней, чтобы плавить их самому или чтобы учить других нашему искусству в обмен на золото: ведь мы, Родмунды, — колдуны, мы умеем превращать свинец в золото.

Я ушел один, когда был еще молодым, ушел на юг. Четыре года я проходил от одного поселения до другого, обходя стороной равнины, перебираясь из долины в долину, стуча молотком и не находя ничего или почти ничего. Летом работал в поле, зимой плел корзины или, чтобы прокормиться, тратил золото, которое взял с собой. Я уже сказал, что был один: женщины служат нам только для одного — рожать сыновей, чтобы род не угас, но мы их возле себя не держим. Да и на что женщина годится? Камни искать она не способна научиться, а если притронуться к ней, когда у нее регулы, она превратится в мертвый песок или пепел. Куда лучше девушки, которые встречаются в пути; с ними можно поразвлечься, провести ночь или даже месяц, не думая, как с женами, о том, что будет завтра. Свое завтра мы предпочита-

таем встречать в одиночестве. Когда тело женщины станет дряблым и бледным, когда у нее начнет болеть нутро, поредеют волосы, выпадут зубы и побелеют десны, лучше быть одному.

Я дошел до места, откуда в ясные дни была видна на юге горная цепь, и, дождавшись весны, направился к ней. Мне нестерпимо наскучила эта мягкая липкая земля, ни на что не годная, кроме как на поделки вроде глиняных свистулек, бессильная, лишенная тайн. Нет, равнины не для нас, а вот горы — другое дело. Скалы, эти земные кости, выходят наружу, они издают звуки под кованым башмаком, и можно научиться эти звуки различать. Я спрашивал у встречных дорогу, искал проходимые перевалы, интересовался у людей, есть ли в их краях свинец, где его продают, по чем. Чем дороже мне называли цену, тем тщательней я обследовал округу. Кое-где даже не знали, что такое свинец. Когда я показывал им пластину, которую всегда ношу в суме, они гнули ее и смеялись, что она такая мягкая, даже интересовались с издевкой, уж не делают ли в моей стране из свинца плуги и мечи. Но чаще они не понимали меня, а я их. Хлеб, молоко, скромный ночлег, девушки, в каком направлении мне идти — вот и весь их разговор.

В разгар лета я преодолел высокий перевал. Солнце в полдень стояло почти над головой, а на лугах белели пятна снега. Когда я немного спустился, то увидел отары овец, пастухов, тропы, а глубоко внизу — доли-

ну; она тонула в темноте, будто там была ночь. Мне стали попадаться деревни, одна, прямо на горной реке, очень большая; сюда с окрестных гор спускались люди, чтобы менять скот, лошадей, сыр, шкуры и еще красное питье, они называли его вином. Я не мог удержаться от смеха, слушая их разговоры: не язык, а какое-то грубое бормотанье, слов не разобрать, будто звери перекрикиваются. Но, как ни странно, их оружие и инструменты похожи на наши, даже похитрее придуманы, да и сработаны лучше. Женщины тут прядут пряжу, как у нас. Дома каменные, не слишком красивые, зато прочные, но попадаются и деревянные. Они подняты над землей на несколько ладоней, потому что стоят на четырех или шести деревянных колодах с гладкими каменными кругляшами сверху. Если это для того, чтобы защититься от мышей, то выдумка неплохая. Крыши у них крыты не соломой, а широкими каменными пластинами, пива они не знают.

Я сразу заметил вверху, на склонах гор, окружавших долину, отверстия в скалах и нагромождения обломков — признак того, что кто-то здесь уже занимался разведкой. Но я вопросов не задавал, чтобы не вызвать подозрений: чужеземец вроде меня должен вести себя осторожно. Я начал спускаться вдоль несущегося потока (помню, вода в нем бурлила и вскипала белой пеной, будто была смешана с молоком, у нас я такого никогда не видел), терпеливо изучая камни, это один из способов, которым мы пользуем-

ся. Поток приносит камни издалека, и тому, кто понимает, они говорят о многом. Мне попадалось все понемногу: кремни, известняк, гранит, куски породы с железом, зеленые минералы и даже то, что у нас называют «гальмейда», но интересовавших меня камней не было. В голове, точно гвоздь, засела мысль: не может в таком месте, где у людей полно железа, где в скалистых обнажениях розовые слои чередуются с белыми, не быть камней со свинцом.

Я медленно спускался вниз по реке, перепрыгивая в глубоких местах с уступа на уступ и разглядывая камни у себя под ногами; я был похож на взявшую след ищейку. Наконец чуть ниже по течению, где в реку вливался небольшой ручей, среди множества почти одинаковых камней мое внимание привлек беловатый камень с черными зернышками. Я застыл на месте, как вкопанный, как собака перед дичью. Камень был тяжелый, рядом лежал еще один, поменьше. Мы редко ошибаемся, но на всякий случай я разбил его, вынул кусочек, похожий на орех, и решил проверить. Хороший серьезный искатель, который не привык обманывать себя и других, не должен верить своим глазам, потому что камень, который кажется мертвым, на самом деле способен притворяться. Иногда он меняет свой вид, пока его выкапываешь, как некоторые змеи, которые меняют цвет, чтобы остаться незамеченными. Поэтому хороший искатель всегда имеет при себе глиняный тигель, древесный уголь, порошок для розжига,

кресало и еще кое-какие средства, с помощью которых можно определить, стоящий камень или нет, но о них я не могу вам сказать, потому что это секрет.

Вечером я нашел укромное местечко, разжег огонь, аккуратно поставил на него тигель, через полчаса снял его с огня и оставил остужаться. Потом разбил тигель и — вот он, блестящий тяжелый кружок, при виде которого начинает колотиться сердце, а ноги готовы бежать без усталости; он легко продавливается ногтем, и мы зовем его «царек».

Но радоваться было рано: настоящая работа только начиналась. Теперь мне предстояло вернуться назад и на каждом изгибе реки внимательно смотреть направо и налево, выискивая хорошие камни. Я довольно долго поднимался, и по пути мне попадались камни, правда редко. Потом русло потока стало уходить в глубокое узкое ущелье с такими отвесными склонами, что нечего было и думать продолжать путь. Я спросил пастухов, которые мне встретились, как подняться наверх, и они объяснили мне жестами и нечленораздельными звуками, что здесь никак не пройти, а надо сначала спуститься в большую долину, найти там тропу (разведя руки, они показали какой она ширины), дойти по ней до перевала (Тринго, если я правильно расслышал, или что-то в этом роде) и через ущелье спуститься туда, где много животных с рогами, которые мычат (то есть коров, понял я, а значит, и молока). Я дви-

нулся в путь, легко нашел тропу, перешел через Тринго и спустился в очень красивое место.

Вдаль от меня уходила долина, вся в зелени лиственниц, позади которой виднелись заснеженные даже в эту летнюю пору горы. Подо мной раскинулись обширные луга с хижинами и стадами. Я устал и, спустившись, подошел к пастухам. Они встретили меня недоверчиво, но в золоте разбирались (слишком даже хорошо разбирались) поэтому не причинили мне никакого вреда и дали приют. Воспользовавшись случаем, я выучил несколько слов на их языке. Горы они называют «пен», луга — «ца», летний снег — «роиза»; «феа» по-ихнему «овца», «баит» — дом. Низ у такого дома каменный, там держат скот, а верх деревянный, поставленный на опоры, я уже про такие дома рассказывал, в них они сами живут, хранят сено и запасы пищи. Хотя люди здесь нелюдимые и молчаливые, но не воинственные, оружия они не держат и мне ничего плохого не сделали.

Отдохнув и восстановив силы, я вновь занялся поисками. Продолжая свой путь по реке, я попал в узкую длинную долину, расположенную параллельно той, где росли лиственницы. Здесь не было ни деревьев, ни людей, ни пастбищ, зато в реке я нашел много хороших камней. Я чувствовал, что цель моя близка, скоро я найду то, что ищу. Три дня я спал под открытым небом, вернее, лежал, не в силах от волнения уснуть, и смотрел в небо, пока не начинался рассвет.

Наконец в пустынном крутом ущелье я наткнулся на выступающий из густой травы белый камень; откопав его всего на несколько ладоней, я увидел под ним другой, черный. Сам я ни разу в жизни не видел таких богатых камней, но отец мне про них рассказывал. Плотный, без шлака, одного его хватило бы сотне людей на сотню лет. Странно, но, похоже, что до меня здесь кто-то уже побывал: я обнаружил отверстие, едва заметное за огромным обломком скалы (словно специально загораживающим его), которое вело в галерею, судя по всему, очень древнюю, потому что со свода свисали сталактиты величиной с мой палец. На земле валялись куски гнилого дерева и несколько костей, остальные, видимо, растащили лисы. Кругом были их следы, а может, это были следы волков. Зато половина черепа, наполненного землей, безусловно, принадлежала человеку. Это трудно объяснить, но так было всегда, с давних времен, может быть еще и до потопы: если кто-то когда-то где-то найдет жилу, он никому ничего не скажет, а будет в одиночку выкапывать камни, пока не ляжет костью. И могут пройти века, прежде чем на них кто-нибудь наткнется. Отец мне говорил, что в какой галерее ни копай, обязательно найдешь человеческие кости.

Итак, месторождение я нашел. Сделал обычные пробы, соорудил под открытым небом печь, спустился вниз за дровами, выплавил столько свинца, сколько мог унести на себе, и вернулся в долину. Пас-

тухам о своей находке не обмолвился ни словом. Потом снова перешел Тринго и спустился в большую деревню за перевалом, которая называлась Салес. День был базарный, и я встал на виду со своим слитком. Люди начали останавливаться, брать свинец в руки, прикидывать его вес, спрашивать, что это такое. Всем хотелось узнать, для чего он годится, сколько стоит, где я его взял. Наконец подошел один проворного вида, в войлочной шапке, и мы нашли с ним общий язык. Я сказал, что слиток можно расплющить без труда, и тут же, найдя молоток, положил свинец на каменную тумбу и показал, как легко делать из него полоски и листы; затем объяснил, как из свернутых листов, сваривая их раскаленным железом, можно делать трубы, например водосточные. Деревянные, сказал я, такие, как здесь, в деревне Салес, быстро размокают, превращаются в труху, бронзовые делать трудно, к тому же, если использовать их для питьевой воды, они вредят желудку, зато свинцовые трубы служат вечно, и их легко приваривать другу к другу железом. Сделав серьезную мину, я наудачу решил предложить еще один способ применения свинца: им, объяснил я, можно покрывать гробы, тогда умершие не зачервивеют, а постепенно высохнут и в них сохранится душа, так что польза налицо. И еще, сказал я, из свинца хорошо выплавлять надгробные статуи; они получатся не блестящими, как из бронзы, а тусклыми, словно зату-

маненными, но это-то и придаст им траурный вид. Последние идеи, как я заметил, заинтересовали его больше всего. Я объяснил ему, что не только по своему виду, но и по существу свинец — металл смерти, потому что от него умирают, потому что большой вес тянет его вниз, к земле, а трупы умерших тоже хоронят в земле, потому что и цвет у него мертвенно-бледный и родом он с планеты Туисто, самой далекой из планет, называемой еще планетой мертвых. Я также объяснил ему, что, с моей точки зрения, свинец — особая материя, отличная от всех других материй, в этом металле чувствуется усталость; может быть, усталость превращений, ему не хочется больше возрождать из пепла другие элементы, сгоревшие за тысячи и тысячи лет до нас в собственном огне, но сохранившие в себе жизнь. Это не была выдумка ради выгодной сделки, я правда так считаю. Человек, его звали Борвио, слушал меня с открытым ртом, а потом сказал, что, похоже, так оно и есть, как я говорю, а планету, которую я назвал Туисто, в их стране тоже знают, она считается планетой бога Сатурна, и знак ее серп. Настало время переходить к делу, и пока он еще был под впечатлением от моих рассказов, я запросил тридцать слитков золота в одну либбру каждый за то, что открою ему месторождение, научу, как плавить и как использовать металл. Он, в свою очередь, предложил мне бронзовые монеты с изображением вепря,

отлитые неизвестно где, но я стоял на своем: только золото и ничего другого. Впрочем, тридцать либбр золота — непомерная тяжесть для того, кто странствует пешком, это каждому понятно, в том числе и Борвио, в этом я не сомневался, так что мы сошлись на двадцати. Но сначала он хотел посмотреть месторождение, что вполне справедливо. Когда мы вернулись в долину, он вручил мне золото. Я проверил все двадцать слитков; золото в них было настоящее, и весили они одинаково. Мы выпили приличное количество вина, чтобы отпраздновать нашу сделку, а заодно и расставанье.

Не могу сказать, что эта деревня мне не понравилась, просто многие причины вынуждали меня тронуться в путь. Первая из них — я хотел добраться до жарких стран, где, по рассказам, растут оливы и лимоны. Вторая — увидеть море. Не то, холодное и грозное, откуда пришел мой предок с голубыми зубами, а теплое, где добывают соль. Третьей причиной было золото: негоже таскать его с собой и постоянно бояться, что ночью или во время попойки тебя обчистят. Это золото я хотел употребить на морское путешествие, чтобы узнать, что такое море, и познакомиться с моряками, потому что морякам нужен свинец, хотя они об этом и не догадываются.

Итак, я ушел из деревни и шел два месяца, спускаясь по большой безрадостной долине, пока она не перешла в равнину. Луга перемежались с пшеничными

полями, едкий запах выжженной стерни вызвал у меня тоску по дому: у осени во всех уголках мира один запах — запах мертвых листьев, отдыхающей земли, дыма от сжигаемых сухих веток, от всего, чему пришел конец, и ты думаешь — «навсегда». На слиянии двух рек я увидел город-крепость, таких больших городов у нас нет. В этом городе был рынок, где торговали рабами, мясом, вином, непристойными девицами с крепкими телами и распущенными волосами, и еще постоялый двор с добрым очагом, где я решил переждать зиму, снежную, как у нас. В марте я снова двинулся в путь и через месяц вышел к морю, которое оказалось не голубым, а серым, рычало как зубр и набрасывалось на землю с такой яростью, будто хотело ее проглотить. Мысль, что оно никогда не отдыхает с тех самых пор, как был создан мир, напугала меня, но я все равно продолжал идти на восток вдоль берега, потому что море притягивало меня к себе, я не мог уже от него оторваться.

Потом я увидел другой город и вошел в него, чтобы на время там остановиться, поскольку золото у меня уже заканчивалось. Здесь жили рыбаки, и на кораблях из разных далеких стран сюда съезжались чужаки: они покупали, продавали, вечерами ссорились из-за женщин, закалывали друг друга ножами в темных закоулках. Тогда я тоже купил себе нож, бронзовый, массивный, в кожаных ножнах, чтобы носить на поясе под одеждой. Стекло они знали, а зеркало

нет. У них были только зеркальца из полированной бронзы, которые ничего не стоят, потому что быстро покрываются царапинами и искажают цвета. У кого есть свинец, тот без труда может сделать стеклянное зеркало, но я не торопился открыть им секрет, убеждал их, что этим искусством владеем только мы, Родмунды, а нас, в свою очередь, научила ему одна богиня, которую зовут Фригга. Я им еще много всего наболтал, и они всему верили, каждому моему слову верили.

Мне были нужны деньги. Освоившись и оглядев-шись, я обнаружил недалеко от порта стекольную мастерскую; стекольщик показался мне человеком неглупым, и мы с ним поладили.

Я много от него узнал, к примеру, что стекло можно выдувать. Мне так это понравилось, что я попросил его и меня научить: когда-нибудь я попробую этим способом выдувать свинец или расплавленную бронзу, впрочем, они слишком жидкие, так что вряд ли получится. Но и я в долгу не остался, научил его, как на пластину еще горячего стекла наливать расплавленный свинец; таким образом можно получить блестящее гладкое зеркало, не слишком большого размера, зато без дефектов, и служить оно будет много лет. Этот стекольщик был молодец, он знал секрет цветного стекла, и пестрые стеклянные пластины, которые он отливал, были очень красивы. Я с энтузиазмом занимался новым для себя де-

лом; мне пришло в голову делать изогнутые зеркала. Если выдуть сегмент шара и нанести свинец на выгнутую сторону, отражение будет очень маленьким, а если на выгнутую — очень большим, причем и в том и в другом случае — искривленным. Конечно, женщинам такие зеркала понравиться не могли, зато дети были от них в восторге. Все лето и всю осень мы продавали такие зеркала купцам, и те давали нам за них хорошие деньги; я не упустил случая поговорить с каждым из них, чтобы как можно больше узнать о крае, который многие из них знали.

Поразительно, но эти купцы, полжизни которых прошло в море, имели более чем смутное представление о сторонах света и расстоянии, но в одном все они сходились: если плыть на корабле на юг (одни говорили — тысячу миль, другие — в десять раз больше), то в конце концов приплывешь туда, где земля от солнца как пыль, где диковинные деревья и невиданные звери, а люди злые, и кожа у них черная. Многие уверяли меня, что на полпути к той земле лежит большой остров, его называют Икнуза*; это остров металлов, и о нем ходят странные слухи: будто люди там все великаны, между тем как лошади, быки, кролики и даже куры — очень маленькие;

* Это слово упоминается в текстах Аристотеля, и принято считать, что таково древнее название Сардинии, где к тому же, согласно мифам, обитали циклопы.

верховодят всем женщины, даже воюют, а мужчины приглядывают за скотом и прядут шерсть. Эти великаны — пожирают людей, особенно чужеземцев. Там царит разврат, мужья меняются женами, и даже животные совокупаются с кем попало: волки с кошками, медведи с коровами, а женщины, забеременев, через три дня уже рожают и сразу же говорят своим детям: «Давай неси скорей ножницы и посвети мне, чтобы я могла пуповину перерезать». Некоторые говорили, что по берегу со всех сторон острова настроены каменные крепости, огромные, как горы, и что все там из камня: наконечники копий, колеса повозок, даже женские гребни и иголки для шитья, даже котлы, в которых они варят пищу, причем варят тоже на камнях, только особых, которые способны гореть. Перекрестки улиц там охраняют окаменевшие чудовища, такие страшные, что на них невозможно взглянуть.

Слушая эти рассказы, я делал вид, что верю всему, но при этом с трудом сдерживался от смеха: я тоже немало побродил по свету и знаю, что везде все одно и то же. Признаюсь, я и сам, возвращаясь из странствий, когда рассказываю, где побывал, люблю пофантазировать. Даже про свою страну я успел здесь наслушаться небылиц: например, будто ноги у наших буйволов не имеют коленных суставов и, чтобы повалить такого зверя, надо подпилить дерево, к которому он приваливается для ночного отдыха; де-

рево под его тяжестью повалится и потянет буйвола за собой, а подняться он уже не сможет*.

Что касается металлов, о них говорили все в один голос: дескать, и купцы, и морские капитаны привозят их с острова помногу в обработанном и необработанном виде, но что именно они привозят, из рассказов этих темных людей понять было трудно. Дело осложнялось еще и тем, что все говорили на разных языках и никто не говорил на моем, так что с названиями происходила большая путаница. Одни говорили, например, «калибе», но неясно было, называют они так железо, серебро или бронзу. Другие употребляли слово «сидер»**, говоря то ли о железе, то ли о льде; они были настолько невежественны, что утверждали, будто горный лед, зажатый внутри породы, в течение веков твердеет настолько, что превращается сначала в горный хрусталь, а потом в железный камень.

В конце концов мне надоело заниматься всякой ерундой, и я решил отправиться на эту самую Икную. Я продал стекольщику свою долю в производстве и, добавив то, что уже заработал на зеркалах, оплатил место на торговом судне. Но пришлось ждать, потому

* Рассказ про буйвола — почти дословный перевод с латинского одного из эпизодов сочинения Цезаря «Галльская война».

** Слова «калибе» и «сидер» — являются транслитерацией (первое) и аббревиатурой (второе) греческих слов, означающих соответственно сталь и железо или лед.

что зимой дуют ветры — то борей, то мистраль, то эвр, и все они плохи, так что до весны моряки предпочитают проводить время на суше, напиваться, проигрывать до нитки в кости, брюхатить портовых женщин.

Мы снялись с якоря в апреле. На судне, груженном амфорами с вином, кроме капитана (он был одновременно хозяином) и четырех моряков, находились двадцать прикованных цепями к лавкам гребцов и их надсмотрщик. Этот надсмотрщик родом с Крита был врун, каких мало; он рассказывал о стране, где живут люди с такими огромными ушами, что в них можно заворачиваться зимой и так спастись от холода. Еще там будто бы живут звери, у которых хвост не сзади, а спереди; называют их «альфиль», они понимают язык людей.

Должен признаться, я с трудом переносил плавание: судно качает то направо, то налево, пол под тобой пляшет, есть неудобно, спать неудобно, теснота такая, что ноги некуда поставить, а прикованные гребцы смотрят злобно, словно дают понять, что если бы они не были прикованы, то вмиг разорвали бы тебя на куски. И такое, оказывается, случалось, мне капитан говорил. А с другой стороны, когда благоприятный ветер надувает парус и гребцы поднимают весла, кажется, будто летишь в волшебной тишине. Из воды выпрыгивают дельфины, и моряки уверяют, что по выражению дельфиных морд они могут опреде-

лить, какая завтра будет погода. Этот корабль снаружи был хорошо просмолен, но, несмотря на это, его борта были изъедены (как мне объяснили, червем). Еще в порту я заметил, что все корабли, стоящие на якоре, тоже испорчены червоточиной. Ничего не поделаешь, сказал мне капитан, корабль рано или поздно стареет, и тогда его ломают и сжигают. Но у меня на этот счет были свои идеи, в частности насчет якоря. Глупо делать его из железа, он очень быстро ржавеет и служит поэтому два года от силы. А рыболовные сети? Моряки, когда море было спокойным, забросили сеть с деревянными поплавками и камнями вместо грузил. Камнями! А если грузила делать из свинца, они в четыре раза будут меньше! Ясное дело, я никому и словом об этом не обмолвился, но, как вы понимаете, в мечтах уже начал добывать этот самый свинец изнутри Икнузы и зарабатывать на нем, другими словами — сдирать шкуру с еще не убитого медведя.

На двенадцатый день плаванья показался остров. Мы на веслах вошли в маленький порт. Вдоль берега высились неприступные гранитные скалы, на них трудились рабы, вытачивая колонны. Они не были великанами, больших ушей у них тоже не было, такие же люди, как мы, и с моряками они неплохо понимали друг друга, но надсмотрщики не давали им разговаривать. Это была земля гор и ветра, и мне она сразу понравилась. В воздухе пахло горькими дикими травами, народ показался мне простым и сильным.

Край металлов находился отсюда в двух днях пути. Я нанял осла с погонщиком. Ослы действительно маленькие (но не с кошку, как рассказывали на континенте), зато сильные и выносливые. Какая-то правда в тех рассказах все же была, но она была скрытой, спрятанной в словах, ее надо было разгадывать как загадку. Например, я убедился, что рассказ о каменных крепостях соответствовал действительности: они, конечно, были не величиной с горы, но достаточно высокие и массивные, правильной конусообразной формы с усеченным верхом. Удивительно, но все говорят, что «они были всегда», и никто не знает, кто, как, зачем и когда их построил*. Что же о том, будто островитяне пожирают чужеземцев, это полная чушь: безо всяких историй и приключений я добрался до рудников и по пути все мне указывали направление, словно это не только их земля, но и всех.

То, что я увидел, ошеломило меня; я был похож на охотничью собаку, вбежавшую в богатый дичью лес и сбитую с толку множеством нахлынувших на нее запахов. Край металлов — это цепь холмов вблизи моря, которые чем выше, тем круче, и тянутся они далеко, до самого горизонта. Повсюду столбы дыма

* Речь идет об уникальных сардинских «нурагах»; эти доисторические циклопические памятники высотой около 20 и шириной около 30 метров сложены из больших пригнанных друг к другу камней.

над плавильнями, люди за работой, свободные и рабы. Насчет горящих камней тоже говорили правду; когда я их увидел, то не поверил собственным глазам. Разжечь их трудновато, зато потом они долго горят и дают много жару. Камни эти привозят откуда-то на ослах в корзинах, они черные, блестящие, хрупкие и не очень тяжелые.

Тут подалось много удивительных камней с неизвестными мне металлами, выдававшими себя белыми, лиловыми и голубыми линиями: значит, под землей прятался целый клубок самых разных жил. Можно было растеряться от этого изобилия, броситься искать все подряд, но я Родмунд, и мой металл — свинец. Не теряя времени, я принялся за работу.

Месторождение я нашел на западной границе края, думаю, никто там до меня не копал, во всяком случае, я не обнаружил ни шахт, ни галерей, ни отвалов, и на поверхности никаких следов тоже не было. Кругом были камни как камни, но я знал: свинец внизу есть. Мы, искатели, думаем, будто ищем металл глазами, полагаясь на свой ум и опыт, но я долго размышлял и пришел к выводу, что на самом деле нас ведет какая-то необъяснимая сила, сродни той, что заставляет лосося подниматься в наши реки или ласточку возвращаться в родное гнездо. Может, с нами происходит то же, что с водоискателями, которые и сами не знают, что направляет их к воде, но что-то же направляет и заставляет гнуться лозу в их пальцах!

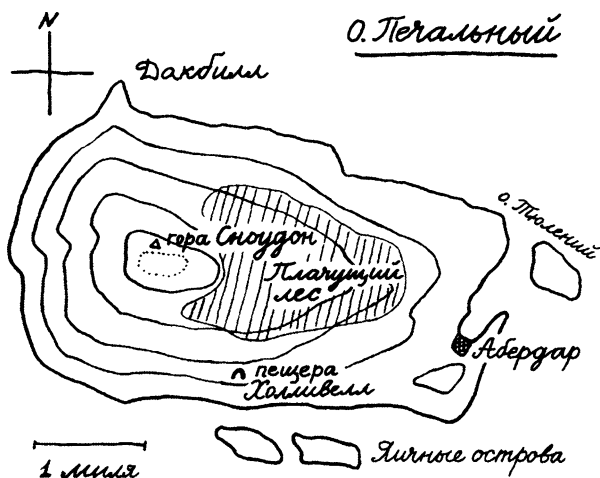
Я не мог объяснить, но знал, что свинец именно здесь, и пока шел две мили к лесу, где среди обгоревших от молний деревьев гнездились дикие пчелы, чувствовал под ногами его тяжелое ядовитое течение. Очень скоро я купил себе рабов, чтобы они трудились на меня, а потом, когда подкопил денег, еще и женщину, но не для развлечения. Я выбирал ее старательно, искал молодую, веселую, здоровую, широкую в бедрах, а красивая она или нет, значения не имело. Женщина нужна мне была для того, чтобы родить нового Родмунда, который продолжил бы наше ремесло, точнее, искусство. Надо было спешить: у меня уже тряслись руки, слабели ноги, кровоточили десны; зубы стали голубыми, как у предка, пришедшего с холодного моря. Новый Родмунд родится в конце будущей зимы, родится здесь, на земле, где растут пальмы, где добывают соль, где по ночам дикие собаки с лаем преследуют медведя; он родится в деревне, которую я построил вблизи ручья диких пчел. Я хотел дать ей имя на родном языке, который стал забываться, назвать ее «Бак дер Биннер», что значит «Пчелиный ручей», но не всем здешним людям название пришлось по душе, и они между собой называют деревню на своем, а теперь уже и моем наречии — «Баку Абис».

РТУТЬ

На этом острове я, капрал Абрахамс, живу со своей женой Мэгги уже четырнадцать лет. На соседний остров (я хочу сказать, на ближайший, который носит имя Святой Елены и находится в тысяче двухстах милях к северо-востоку отсюда) сослали очень важного и опасного человека. Боясь, как бы сторонники этого человека не помогли ему бежать, меня отправили сюда нести гарнизонную службу. Мой остров называется Печальным, это имя подходит ему как нельзя лучше, и, честно говоря, мне никогда не верилось, что такая значительная личность станет искать убежища на нашем безрадостном острове.

Говорили, будто этот ссыльный — изменник, прелюбодей, папист, смутьян и фанфарон, и пока он был жив, в гарнизоне кроме нас с Мэгги жили двенадцать солдат, молодых, веселых ребят из Уэльса и Суррея. Все они были крестьяне и помогали нам вести хозяйство. Потом смутьян умер, и к нам прислали канонерку, чтобы всех отвезти с острова домой. Но мы с Мэгги, вспомнив о старых долгах на

родине, предпочли остаться и ухаживать за нашими свиньями.



Остров Печальный выглядит именно так, как он изображен на рисунке. Это самый одинокий остров на свете. Его открывали, и не раз, то португальцы, то голландцы, а еще раньше — дикари, оставившие на скалах горы Сноудон какие-то знаки и изображения идолов. Но обосноваться насовсем ни у кого желания не возникало, потому что здесь полгода идут дожди и земля родит только сорго и картошку. Справедливости ради надо сказать, что с голоду на острове не умрешь: море у северного берега в течение пяти месяцев кишит тюленями, а на двух маленьких островках с южной стороны гнездятся чайки.

Стоит перебраться туда на лодке, и можно набрать яиц, сколько душе угодно. Они, правда, пахнут рыбой, но очень полезные и хорошо утоляют голод. Впрочем, здесь все пахнет рыбой, даже картошка, даже свинина, ведь свиньи питаются картошкой.

На восточном склоне горы Сноудон растут каменные дубы и другие деревья, я не знаю, как они называются. Осенью они покрываются мясистыми голубыми цветами, которые пахнут человеческим потом; зимой — жесткими кислыми несъедобными ягодами. Странные это растения: вода, которую их корни всасывают из глубин земли, поднимается до самых верхних веток и капает вниз, увлажняя почву. Эта влага полезна при разных воспалениях, хотя и отдает мускусом. Мы собираем ее впрок. А лес (он единственный на всем острове) мы назвали Плачущим лесом.

Сами мы живем в Абердаре. Трудно назвать городом четыре деревянных сарая, два из которых уже не пригодны для жилья, но в гарнизоне служил солдат родом из уэльского города Абердара, он-то и окрестил так наше поселение. Самая северная точка острова — Дакбилл. Другой солдат по имени Кокрэйи, тосковавший по дому, часто уходил туда и целыми днями сидел на соленом ветру, потому что ему казалось, что там он ближе к Англии. Он даже соорудил маяк, который никто никогда не зажигал. Этот не-

большой мыс, если смотреть на него с востока, очень похож на клюв утки, потому он и называется Дакбилл.

Ровный песчаный остров северней Абердара называется Тюленьим, зимой самки тюленей рожают здесь своих детенышей. Пещера в южной части острова называется Холливелл, или Святой колодец, это имя ей придумала моя жена, почему — не знаю. Когда мы остались одни на острове, она стала ходить в эту пещеру почти каждый вечер. Брала факел и шла, хотя от Абердара до Холливелла не меньше двух миль. Там за пряжей или вязаньем она чего-то ждала, а чего — сама не знала. Я неоднократно спрашивал ее, зачем она туда ходит, и в ответ она рассказывала странные вещи, будто слышала голоса и видела тени, и, поскольку внизу грохота волн не слышно, там она чувствует себя не такой одинокой и беззащитной. Я же боялся, что она поклоняется идолам. В этой пещере были камни, которые напоминали фигуры людей и животных. Один, в самой глубине, походил на рогатый череп. Это точно не были творения рук человеческих, но кто же тогда их создал? Я не любил спускаться в пещеру, потому что из ее глубины слышалось время от времени глухое утробное урчанье, под ногами становилось горячо и через расщелины в камнях поднимались пары с запахом серы. Короче говоря, я бы эту пещеру назвал совсем иначе, но Мэгги уверяла, что слышала здесь од-

нажды голос, который предсказал ей ее и мою судьбу, судьбу острова и всего человечества.

Мы с Мэгги жили на острове одни в течение нескольких лет. Раз в год на Пасху к острову причаливало китобойное судно Бартона, чтобы поделиться с нами мировыми новостями и провиантом, а у нас взять немного копченого сала, которое мы готовили. Но вдруг все изменилось. Три года назад Бартон высадил здесь двоих голландцев. Уиллем выглядел почти ребенком: розовощекий, светловолосый, стеснительный. На лбу у него была незаживающая серовато-белая ранка, такие ранки — первый признак проказы, поэтому никто не хотел брать его к себе на борт. Хендрик был гораздо старше. Худой, с седыми волосами и морщинистым лбом. Он рассказал какую-то не очень внятную историю про драку, в которой проломил голову квартирмейстеру, за что в Голландии ему грозит виселица, но речь у него была хорошая, не то что у простого моряка, и руки тонкие, как у синьора, такими руками голову не проломишь. Спустя несколько месяцев как-то утром мы увидели дым на одном из Яичных островов. Я спустил лодку и поплыл посмотреть, что там случилось. На острове я обнаружил двух потерпевших кораблекрушение итальянцев, их звали Газтано ди Амальфи и Андреа ди Ноли. Их корабль разбился о рифы, они, единственные, спаслись и доплыли до островка. Итальянцы не знали,

что на большом острове живут люди; костер они разожгли, чтобы обсушиться. Я сказал им, что через несколько месяцев здесь будет Бартон, он сможет отвезти их в Европу, но они даже слышать об этом не хотели: после того, что им пришлось пережить этой ночью, они ни за что больше не ступят на борт корабля. Мне стоило немалого труда уговорить их сесть в лодку, чтобы преодолеть расстояние в сто локтей, отделявшее Яичные острова от Печального. Они готовы были остаться на этой безрадостной скале и питаться до скончания жизни яйцами чаек, лишь бы не плыть снова по воде.

Места на Печальном достаточно. Я устроил всех четверых в сарае, опустевшем после отъезда уэльсцев; они разместились там свободно, тем более что пожиток не было ни у кого, кроме Хендрика, который держал их под замком в деревянном сундуке. Ранка на лбу Уиллема зажила, значит, это была не проказа. Мэгги вылечила ее за несколько недель примочками из сурепки (так мы называем одну траву, которая растет по краю леса, хотя на самом деле это не сурепка); она приятна на вкус, но после нее снятся странные сны. Честно говоря, лечение заключалось не в одних примочках: жена заперлась с Уиллемом в комнате и пела ему колыбельные. Иногда паузы между одной песней и другой затягивались слишком надолго. Я был рад за Уиллема, когда он вылечился, и на душе у меня полегчало, но не надолго: теперь Мэгги стала

проводить много времени с Хендриком. Они подолгу вместе гуляли, я слышал, как он рассказывал ей о тайнах за семью замками, о Гермесе Трисмегисте*, о единстве и борьбе противоположностей и еще о чем-то малопонятном. Хендрик построил себе отдельную крепкую хижину без окон, перетащил в нее свой сундук и проводил там почти все время. Иногда к нему приходила Мэгги, тогда над хижинкой поднимался дым, дым от очага. Они вместе ходили в пещеру и приносили оттуда красноватые камни, которые Хендрик называл киноварью.

Итальянцы меня особенно не беспокоили. Они тоже смотрели на Мэгги масляными глазами, но, не зная английского, не могли с ней разговаривать. Кроме того, чувствуя себя соперниками, они следили друг за другом. Андреа был набожный, и вскоре на острове появилось много святых, деревянных и глиняных. Он и Мэгги подарил фигурку Мадонны из обожженной глины, и та, не зная, что с ней делать, поставила ее в кухне в углу. Одним словом, было ясно, как Божий день: этим четверем мужчинам нужны четыре женщины. Однажды я собрал их всех вместе и сказал им напрямую, без обиняков, что если кто-то из них прикоснется к Мэгги, то закончит свою жизнь в аду, ибо сказано: «Не

* Гермес Трисмегист (греч.) — трижды величайший Гермес, покровитель греко-египетских мистериальных таинств в герметике.

желаю жены ближнего твоего». И в ад я его отправлю лично, даже если за это мне и самому потом в нем гореть. Когда появился Бартон на своем судне, трюмы которого были загружены китовым жиром, все в один голос попросили его найти для них четырех женщин, но он рассмеялся им в лицо: надумали тоже! Да где же найдешь таких, которые согласятся отправиться к тюленям, на этот всеми забытый остров, чтобы выйти замуж черт знает за кого? Еще куда ни шло, если бы вы им заплатили, но чем вы можете заплатить? Своими сосисками, которые так воняют рыбой, будто они не из свинины, а из тюленьего мяса? Сказав это, он поднял паруса и уплыл.

В тот же самый день, еще до наступления ночи, раздался страшный грохот; остров затрясся, будто кто-то пытался вырвать его из моря с корнем; небо в считанные минуты заволокло черными тучами, озаряемыми огненными всполохами; из недр Сноудона вырывались частые красные молнии; казалось, они пронзают небо насквозь. Потом с вершушки горы медленной широкой полосой потекла горящая лава. К счастью, не в нашу сторону, а левее, к югу; со свистом и треском раскаленный поток прокладывал себе дорогу, спускаясь с одного уступа на другой, и через час достиг моря: там, где лава стекала в воду, слышалось шипенье и поднимался столб пара. Никто из нас и не догадывался, что Сноудон — вулкан, хотя конусообразная форма его вершины с кратером глу-

биной не меньше двухсот пядей должна была нас насторожить.

Захватывающее зрелище продолжалось всю ночь, взрывы на время прекращались, но затем разражались с новой, еще большей силой; казалось, это никогда не кончится. Однако к утру подул жаркий восточный ветер, небо очистилось, грохот мало-помалу стал стихать, переходя в глухое ворчанье, и, наконец, стих совсем. Ослепительно желтый шлейф лавы сначала стал красным, как раскаленные угли, а днем совсем потух.

Я беспокоился о своих свиньях. Сказав Мэгги, чтобы она ложилась спать, я, взяв с собой мужчин, всех четверых, отправился осматривать остров: мне хотелось увидеть своими глазами, какие произошли изменения.

Со свиньями все было в порядке. Они бросились к нам навстречу, как к родным. Я не выношу, когда про свиней говорят плохо: эти животные отличаются редким умом, и мне всегда жалко их убивать.

Появились новые расселины; две — на северо-западном склоне, такие глубокие, что сколько ни вглядывайся, не увидишь дна. Юго-западный край Плачущего леса погребен под лавой и пеплом, а прилегающая к нему полоса шириной в двести пядей охвачена пожаром. Земля раскалилась жарче неба, стволы деревьев сгорают до самых корней, на их месте зияют черные дыры. Лопнувшие пузыри лавы застыли острыми, точно стеклянными осколками, шлейф, похожий на гигант-

скую терку, обрушил южную сторону кратера, в то время как северный гребень округлился и кажется теперь выше, чем прежде.

Когда мы увидели пещеру Святого колодца, то глазам своим не поверили: это была другая пещера, совсем не похожая на прежнюю: просторные места сузились, низкие своды поднялись, один совсем обрушился, и сталактиты, спускавшиеся сверху, теперь торчали из боковой стены, напоминая клювы аистов. В глубине пещеры, где прежде находился Череп Дьявола, образовалось огромное помещение с куполообразным верхом, похожее на церковь. Здесь было дымно, слышалось потрескивание, так что итальянцы Андреа и Гаттано ни за что не хотели больше оставаться внизу. Я послал их за Мэгги, чтобы она пришла и посмотрела на свою пещеру. Как я и предполагал, она вскоре появилась, тяжело дыша от волнения и быстрой ходьбы. Итальянцы остались наверху, видимо, чтобы помолиться и пожаловаться на судьбу своим святым. Мэгги между тем носилась по пещере взад-вперед, словно собака в поисках следа, словно ей слышались те самые голоса, про которые она рассказывала. Вдруг она издала такой дикий вопль, от которого у нас волосы встали дыбом. Из трещины в куполе падали капли, но это была не вода: блестящие тяжелые капли ударялись с металлическим звуком о скалистый пол и разлетались тысячами крошечных капелек во все стороны. Немного ниже уже образовалась лужица, и тог-

да нам стало понятно, что это ртуть. Сначала ее потрогал Хендрик, потом я. Это была холодная, но живая материя, по ее поверхности пробегали мелкие, похожие на морщины, волны, словно она сердилась или проявляла нетерпение.

Хендрик преобразился на глазах. Он обменялся с Мэгги быстрым взглядом, значение которого осталось для меня загадкой, и произнес странные и непонятные (впрочем, похоже, только для меня, но не для Мэгги) слова о том, что настало время Великого Дела, что у земли, как и у неба, есть своя роса, что в пещере обитают Мировые духи. Потом, обернувшись к Мэгги, он сказал ей: «Приходи сюда сегодня вечером, мы сделаем зверя о двух хребтах». Он снял с шеи бронзовый крест на цепочке и показал нам. На кресте был распят змей. Затем бросил крест в лужу ртути и тот не утонул.

Присмотревшись, можно было заметить, что ртуть вырывалась из всех щелей новой пещеры, как пиво из бродильного чана. А прислушавшись, можно было услышать и глухое бормотанье, издаваемое тысячами падающих со свода металлических капель, которые, разбиваясь о землю, сливались в ручейки, звенящие, как расплавленное серебро, и исчезали в отверстиях между камнями.

Честно сказать, Хендрик мне никогда не нравился; из всех четверых он был мне наименее симпатичен, но сейчас он вызывал у меня настоящую злость, отвра-

щение и даже страх. Его глаза светились таким же неровным колеблющимся светом, как сама ртуть; казалось, в его венах тоже течет ртуть, и весь он пропитался ртутью; еще немного — и она брызнет у него из глаз. Он бегал по пещере, как хищный зверек, набирал ртуть пригоршнями, брызгал на себя, выливал на голову, точно воду, еще немного — и он начал бы ее пить. Мэгги ходила за ним следом, как замороженная. Я сдерживался, сколько мог, потом раскрыл нож, схватил его за грудь и прижал к скалистой стене. Я гораздо сильнее его, и он тут же сник, как парус в безветренную погоду. Я хотел знать, кто он на самом деле, зачем приплыл на наш остров, что ему надо от нас и что это за такой зверь о двух хребтах.

От страха вся спесь с него слетела, и он сразу же признался, что история про квартирмейстера — выдумка, а про виселицу — нет, она его и вправду ждет в Голландии за то, что, предложив Генеральным Штатам* превращать песок дюн в золото, он получил из казны сто тысяч флоринов, из которых небольшую часть потратил на эксперименты, а все остальное прокутил. Спустя некоторое время он был приглашен изложить высокому собранию суть эксперимента, который он называл *experimentum crucis*, однако похвастаться ему было нечем: из тысячи фун-

* Так назывался государственный сейм соединенных нидерландских провинций.

тов песка удалось получить лишь две щепотки золота. Тогда он выпрыгнул в окно, спрятался у своей любовницы, а потом, прихватив с собой сундук с алхимическим оборудованием, тайком пробрался на первый же корабль, который отправлялся на остров Кейп. Что касается зверя, он сказал, что это сложный вопрос, в двух словах не объяснишь. Чтобы его сделать, необходима ртуть, потому что она летучая, как дух, и олицетворяет собой женское начало, а при соединении с мужским земным огнем, которым является сера, можно получить философский камень, который и есть тот самый зверь о двух хребтах, поскольку в нем соединяются, перемешиваются мужское начало и женское. Прекрасное объяснение, верно? Не удивительно, что я не поверил ни одному слову этого алхимика, хотя он и старался говорить искренне и убедительно. Зверем о двух хребтах были они сами, он и Мэгги; он, седой и волосатый, и она, беленькая да гладенькая, и сделать его они готовы прямо здесь, посреди пещеры, или еще где-нибудь, возможно даже в нашей супружеской постели, пока я отлучусь проведать свиней, а может, уже и раньше его делали, и не раз.

Кажется, у меня в венах тоже забурлила ртуть, потому что меня вдруг захлестнула ярость. После двадцати лет брака я немного охладел к Мэгги, но в эту минуту меня охватило такое сильное желание, что я готов был ради нее на убийство. Но я взял себя в руки и, продолжая крепко прижимать Хендрика к

стене, спросил его, почем теперь ртуть. Он в этом должен знать толк, ведь это его ремесло, а спросил я его потому, что у меня возникла одна идея.

— Двенадцать стерлингов за фунт, — ответил он дрожащим голосом.

— Поклянись!

— Клянусь! — ответил он, подняв вверх большие пальцы и сплюнув перед собой. Возможно, у этих алхимиков, у этих преобразователей металлов принято клясться именно так, но мой нож был настолько близко от его горла, что он все равно не стал бы мне врать. Я отпустил его, и он, все еще дрожа от страха, объяснил мне, что сырая ртуть, такая, как у нас, стоит не очень дорого, но ее можно очистить путем перегонки, как виски, в чугунной или глиняной реторте. Потом реторту следует разбить, и там окажется свинец, а скорее всего, серебро или даже золото. Он знает секрет, как этого добиться, и откроет его мне, если я пообещаю сохранить ему жизнь.

Я ничего не стал обещать, просто объяснил, что хочу купить за эту ртуть четырех женщин. Делать реторты и глиняные сосуды было куда проще, чем превращать в золото голландский песок. Времени у нас было в обрез, потому что приближалась Пасха, а с ней и визит Бартона, и мне хотелось успеть подготовить товар — сорок одинаковых банок очищенной ртути с плотными крышками, абсолютно одинаковых, как на подбор, потому что внешний вид тоже

имеет значение. С производством реторт и банок никаких трудностей не возникло, потому что у Андреа уже была печь, в которой он обжигал своих глиняных святых.

Я быстро освоил процесс перегонки, остальным тоже дело нашлось, и за десять дней все сорок банок были наполнены. Объемом в одну пинту, они вмещали в себя по восемнадцать фунтов ртути каждая, так что поднять такую банку было нелегко, а если ее встряхнуть или просто пошевелить, казалось, что внутри ворочается живое существо.

Сырой ртути было сколько угодно: в пещере она плескалась под ногами, капала сверху, и, придя домой, ты находил ее в карманах, сапогах, даже в постели; она и на голову действовала, и всем уже начало казаться, что нет ничего особенного в том, что мы собрались менять ртуть на живых женщин. Эта материя и вправду очень причудлива: она холодная, ускользающая, всегда в движении, но когда в конце концов успокаивается, то смотреться в нее лучше, чем в зеркало. Если ртуть размешать в какой-нибудь посуде, она будет крутиться по инерции еще полчаса. В ней не только кощунственное распятие Хендрика не утонуло; в ней даже камни не тонут, даже свинец. Золото тонет. Мэгги бросила в нее свое обручальное кольцо, и оно сразу же пошло ко дну, а когда мы его выудили, оно стало оловянным. Мне, честно сказать, ртуть не нравится. Я хотел

бы поскорей покончить с задуманным делом и больше о ней не вспоминать.

Наступила Пасха, приплыл Бартон. Он погрузил на корабль сорок запечатанных смесью воска и глины банок и уплыл, не дав нам никаких обещаний. Поздней осенью, однажды под вечер мы увидели через завесу дождя знакомый парус; он приближался к берегу, но потом вдруг растворился в сумерках и исчез. Мы подумали, что Бартон решил дождаться утра, чтобы войти в бухту, он всегда так поступал, но, когда рассветло, китобойного судна Бартона нигде видно не было, его и след простыл. Зато на пляже мы обнаружили четырех женщин и двоих детей; промокшие до нитки, окоченевшие от холода, они стояли, в страхе прижавшись друг к другу. Одна из женщин молча подала мне письмо от Бартона, всего несколько строк. Он писал, что вырученные за ртуть деньги полностью пошли на поиски четырех женщин, согласных отправиться на такой безрадостный остров, как наш, чтобы провести остаток жизни с четырьмя мужчинами, которых они до этого в глаза не видели, так что ему, Бартону, ничего не досталось за его посредничество. В свой следующий приезд он рассчитывает получить комиссионные (ртутью или салом) в размере 10 процентов от суммы сделки. Еще он писал, что женщины не первый сорт, но лучше он не нашел и потому предпочел высадить их и поскорей вернуться к своим китам, пока мы не начали делить между собой буду-

щих жен; кроме того, он не сводник, не сваха и уж тем более не священник, чтобы соединять нас узами брака. Ради успокоения совести, правда уже несколько запачканной, он рекомендует нам самим совершить обряд бракосочетания, чтобы все было честь по чести.

Я отозвал в сторону четверых мужчин, собираясь предложить им тянуть жребий, но тут же понял, что в этом нет нужды. Одна из женщин, полная мулатка средних лет со шрамом на лбу, смотрела на Уиллема, не отрывая глаз, и он смотрел на нее с интересом. Хотя женщина годилась ему в матери, я спросил Уиллема:

— Хочешь ее? Тогда бери!

И когда он вывел ее за руку, я поженил их, как сумел. Ее я спросил, любит ли она его, а его — любит ли он ее; слова согласия «в счастья и в несчастья, в здравии и в болезни...» я не мог точно вспомнить, поэтому закончил так: «...пока не нагрянет смерть». По-моему, это прозвучало торжественно. Едва я обвенчал этих двух, как заметил, что Гаэтано выбрал себе косоглазую девушку (а может, это она его выбрала) и они, взявшись за руки, уже шли прочь от нас по пляжу, так что мне, чтобы поженить их, пришлось бежать за ними следом. Из двух оставшихся женщин Андреа выбрал грациозную негритянку лет тридцати, которая даже в потерявшей от дождя форму шляпе и насквозь промокшем боа из страусовых перьев выглядела очень элегантно и даже вызы-

вающе. Их я тоже поженил, хотя и слегка задыхающимся после недавней беготни голосом.

Остались Хендрик и маленькая девушка, рядом с которой стояли двое детей. В ее серых глазах было любопытство, будто происходящее ее не касалось. Смотрела она не на Хендрика, а на меня. Хендрик смотрел на Мэгги, которая только что вышла из сарая, не успев еще раскрутить папильтки, и смотрела на Хендрика. И тут мне пришло в голову, что дети смогут помогать мне ухаживать за свиньями, что Мэгги никогда уже не подарит мне детей, что они с Хендриком прекрасно смогут делать своих зверей о двух хребтах и заниматься перегонкой ртути, что девушка с серыми глазами мне начинает нравиться, хотя она намного моложе меня. От нее веяло чем-то легким, радостным, давно забытым, хотелось бежать за ней и пытаться поймать, как бабочку. Тогда я поинтересовался, как ее зовут, а потом спросил, громко, чтобы и остальные слышали:

— Хочешь ли ты, капрал Даниэль К. Абрахамс, взять в жены присутствующую здесь Реббеку Джонсон? — И сам себе ответил утвердительно.

Девушка тоже сказала «да», и мы поженились.

ФОСФОР

В июне тысяча девятьсот сорок второго года я прямо сказал лейтенанту и директору, что моя работа больше не имеет смысла, и они, согласившись, посоветовали мне искать другое место, если еще сохранились такие места, где расовые законы позволяли мне работать.

Мои поиски оставались безуспешными до тех пор, пока однажды утром меня не позвали к служебному телефону — случай из ряда вон выходящий. Голос на другом конце провода, показавшийся мне грубым и настойчивым, принадлежал некоему доктору Мартини, пригласившему меня приехать в следующее воскресенье в Турин, в отель «Суисс» и посчитавшему излишним посвящать меня в детали. Он именно так и сказал — в отель «Суисс», а не в гостиницу «Швейцария», как выразился бы образцовый гражданин: тогда, во времена Стараче*, подобные

* Акилле Стараче — секретарь фашистской партии, с 1937 года возглавлял организацию «Итальянская ликторская молодежь», объединившую все массовые детские и молодежные организации. В фашистской Италии (как и в Советском Союзе в годы борьбы с космополитизмом) велась борьба за «очищение» языка от иностранных влияний.

мелочи обращали на себя внимание, натренированное ухо моментально фиксировало любое отклонение от общепринятой нормы.

В холле отеля «Суисс» (прошу прощения, в приемном зале гостиницы «Швейцария»), в этом заповеднике старины с его полумраком, бархатом и тяжелыми портьерами, меня уже поджидал доктор Мартини, к которому, как научил меня портье, надо обращаться исключительно «командор»*, а никак не «доктор». Это был человек лет шестидесяти, среднего роста, коренастый, загорелый, почти облысевший, с крупными чертами лица и на удивление маленькими хитрыми глазками; его скошенный в левую сторону, точно презрительно ухмыляющийся, тонкогубый рот больше напоминал узкую прорезь. На первый взгляд этот командор казался таким же энергичным, как лейтенант и директор рудника, но я понял тогда, что эта странная торопливая манера общения итальянцев-арийцев с евреями не случайность, а то ли бессознательная, то ли расчетливая закономерность: с евреем периода «Защиты расы»** можно было вежливо разговаривать, помогать ему и даже (с осторожностью) хвастаться тем, что помогаешь, но вступать с ним в нормальные человеческие отношения не рекомендовалось, чтобы не пе-

* В Италии — высшее почетное звание.

** См. рассказ «Цинк».

рейти опасную черту, за которой уже нельзя было бы уклониться от сопереживания и выражения сочувствия.

Командор задал мне всего несколько вопросов, уклончиво ответил на мои, более многочисленные, зато, продемонстрировав свои деловые качества, вполне определенно осветил два основных момента: стартовая зарплата, которую он мне предложил, выражалась в фантастической сумме, я о такой и помышлять не мог; предприятие его было швейцарским, и сам он соответственно был швейцарцем, так что ему не составляло труда принять меня на работу. Мне показалось странным, даже в какой-то мере комичным, что его *швейцарство* имеет ярко выраженный миланский акцент; возможно, в нем-то и коренилась причина всех его недомолвок.

Завод, хозяином и директором которого он является, находится под Миланом, так что мне придется переехать в Милан. Производит завод гормональные экстракты, но мне предстоит заняться вполне конкретной проблемой — поисками средства от диабета, которое можно будет принимать внутрь, а не вводить с помощью инъекций. Имею ли я хоть какое-то представление о диабете? Я признался, что небольшое: мой дедушка по материнской линии умер от диабета и некоторые дядюшки по отцовской линии, поглощавшие слишком много спагетти, к старости заработали эту болезнь. Командор слушал меня с

большим вниманием, его глаза превратились в щелки; позже я понял, что, поскольку у него самого была наследственная предрасположенность к диабету, он не прочь был иметь в своем распоряжении диабетика, пусть другой, но, в сущности, тоже человеческой расы, на котором можно было бы проверить свои идеи и препараты. Он сказал, что моя зарплата скоро может быть повышена, что фабричная лаборатория большая, удобная, хорошо оснащенная, что есть библиотека более чем с десятью тысячами томов, и, наконец, как фокусник, достающий из цилиндра кролика, добавил, что я, возможно, не в курсе (я и в самом деле был не в курсе), но в его лаборатории над той же проблемой работает один человек, которого я хорошо знаю, это моя однокурсница, даже подруга Джулия Винейс, она замолвила за меня слово. Он дает мне время подумать и спокойно принять решение. Если что — я смогу найти его в этом же отеле через две недели, в воскресенье.

На следующий же день я уволился с рудника и переехал в Милан, взяв с собой самое необходимое — велосипед, Рабле, «Макаронию» Фоленго, «Моби Дика» в переводе Павезе, еще кое-какие книги, ледоруб, альпинистский трос, логарифмическую линейку и блок-флейту.

Командор ничего не приукрасил, описывая лабораторию: по сравнению с лабораторией на руднике она была настоящим дворцом. Мне уже подготовили

рабочее место: в моем распоряжении были стойка под вытяжным колпаком, письменный стол, шкаф со стеклянной химической посудой, тишина и невообразимый порядок. *Моя посуда была помечена синими точками, чтобы не спутать ее с посудой из других шкафов, поскольку здесь, как мне было сказано, если разбил, то плати.* Впрочем, это было далеко не единственное условие, о котором я узнал при поступлении на работу: с непроницаемым выражением лица командор пытался объяснить царящие в лаборатории, да и вообще на всем предприятии строгие правила «швейцарской аккуратности», мне же показалось, что масса глупых требований и ограничений скорее свидетельство того, что командор страдает манией преследования.

Производимая на заводе продукция, и в первую очередь тема моих исследований, — тайна, которую надо хранить, как зеницу ока, потому что существует промышленный шпионаж, которым могут заниматься как посторонние, так и свои — служащие или рабочие завода, несмотря на все предпринимаемые им предосторожности. Поэтому я ни с кем не должен обсуждать суть своей работы и ее перспективы. Даже со своими коллегами? Именно с коллегами в первую очередь. Чтобы сократить контакты, каждый служащий имеет свое индивидуальное расписание, совпадающее с расписанием трамвая, который ходит до завода: А должен был приходиться

в 8.00, Б — в 8.04, В — в 8.08 и так далее. Соответственно и уход с работы расписан таким же образом, чтобы у двух сотрудников не было возможности возвращаться в Милан одним трамваем. Опоздания и преждевременные уходы грозят денежными штрафами.

Последний час, даже если мир рушится, неукоснительно посвящается уборке, мытью, расстановке в шкафу на положенных местах химической посуды, чтобы проникший в лабораторию шпион при всем желании не смог бы догадаться, чем тут занимались в течение рабочего дня. Каждый вечер в запечатанном конверте следует подавать отчет о проделанной работе лично ему или синьоре Лоредане, его секретарше.

Обедать я могу, где хочу, в его, командора, задачу не входит следить за служащими во время обеденного перерыва, но (и при этом его рот скривился больше обычного, превратившись в совсем узкую щель) хороших тратторий по соседству нет, так что он советует оставаться обедать в лаборатории: если я буду приносить из дома продукты, одна из заводских работниц будет мне готовить.

В отношении библиотеки инструкции были особенно строгими. Ни под каким предлогом не разрешалось выносить книги с фабрики; их можно было читать только на месте с разрешения библиотекаря, синьорины Пальетты. Подчеркивать слова,

ставить значки ручкой или карандашом считалось очень тяжелым проступком; синьорина Пальетта обязана была проверить каждую возвращенную книгу, страницу за страницей, и, если обнаруживала галочку или другой значок, должна была книгу уничтожить, заменив ее новой, купленной за счет виновного в порче. Запрещалось даже пользоваться закладками или загибать уголок страницы, чтобы не выдать таким образом секрета: а вдруг «кто-нибудь» по этим признакам вычислит направления деятельности завода? По логике столь закрытая система требовала, чтобы вечером все надежно запиралось, в том числе и аналитические весы, а ключи сдавались вахтеру. У командора был один ключ, подходивший ко всем замкам.

После обряда причащения, требовавшего от меня соблюдения всех этих заповедей и запретов, я готов был впасть в глубокое уныние, если бы, войдя в лабораторию, не увидел там Джулию Винейс. В спокойной позе она сидела у своей стойки, но не работала, а штопала чулки и, казалось, поджидала меня. Искренне обрадовавшись моему появлению, Джулия улыбнулась многозначительной улыбкой.

Мы четыре года проучились вместе в университете, вместе посещали все лабораторные курсы, но наше товарищеское партнерство так и не переросло в более тесную дружбу. Джулия была стройной, миниатюрной девушкой с темными волосами, изящ-

ным изгибом бровей на чистом, немного остром лице, порывистыми, решительными движениями. Существо земное во всех отношениях, она излучала человеческое тепло, предпочитала теории практику, исповедовала, правда без излишнего рвения, католицизм, отличалась широтой души и некоторой взбалмошностью, говорила блеклым безразличным голосом, словно безнадежно устала от жизни, чего на самом деле не было. Здесь Джулия уже почти год, это она назвала мое имя командору, до нее дошли слухи о моем шатком положении на руднике, и она подумала, что исследовательская работа как раз по мне, да и честно говоря, ей надоело быть одной. Нет, она не собирается меня обнадеживать; у нее жених, официальный, самый что ни на есть официальнойший, но все не так просто, как-нибудь она мне объяснит. А что у меня? Никаких девушек? Плохо! Она подумает, как мне помочь, а расовые законы, есть они или нет их, значения не имеют, все это ерунда.

Мне Джулия посоветовала не принимать всерьез причуды командора. Она была из тех женщин, которые все про всех знают, не предпринимая для этого ни малейших усилий, а поскольку я таким даром не обладал, она взялась ввести меня в курс дела и всего за одно занятие объяснила мне принципы и тайные механизмы работы завода, обрисовала главных персонажей. Командор был хозяином, хотя и подчинял-

ся еще каким-то хозяевам из Базеля. На самом же деле всем заправляла Лоредана, секретарша и любовница командора (Джулия показала мне из окна идущую по двору высокую, пышнотелую, несколько вульгарную и поблекшую брюнетку). У них есть вилла на озере, и он, «старый кобель», возит ее туда на парусной лодке. Разве я не видел фотографий, когда заходил в дирекцию? За Лореданой стоит синьор Грассо, он отвечает за кадры, но пока ей не удалось выяснить, спит он с ней или нет; меня она сразу же поставит в известность, как что-то узнает. Из-за множества ограничений работать на заводе трудно, но если не работать, жить можно. Она сразу это поняла, и без ложной скромности может сказать, что за год почти ничего не сделала; каждое утро, создавая видимость, она собирала установку, вечером, как положено, разбирала, а в промежутке занималась, чем хотела: готовила приданое, высыпалась, писала страстные письма жениху и, вопреки инструкциям, болтала со всеми подряд — с недоделанным Амброджо, который ухаживал за подопытными кроликами, с Микелой, которая отвечала за ключи и, возможно, была фашистской осведомительницей, с работницей по фамилии Вариско, которая, по расчетам командора, должна готовить мне обеды, с Майокки, франтом и бабником, воевавшим в Испании на стороне Франко, и даже, хотя ей это и не доставляло особого удовольствия, с бледным скрюченным Мойоли, отцом

девяти детей, которому фашисты перебили палками спину за то, что он состоял в Народной партии*.

Вариско — надежная, заверила меня Джулия; любящая, преданная, она готова выполнять все ее распоряжения, даже приносить ей из отдела органотерапии (куда вход посторонним категорически запрещен) печень, мозги, надпочечники и другие ценные внутренности. У Вариско тоже есть жених, и это их связывает, они секретничают, делятся друг с другом самым сокровенным. Будучи уборщицей, Вариско имеет доступ во все помещения, и от нее Джулия знает, что даже сам процесс производства на заводе тщательно засекречен: подводка воды, газа, пара, мазута спрятана в нишах или замурована в стенах, наружу выступают только вентили; вся техника имеет сложную систему защиты, запустить их может лишь посвященный. Даже на термометрах и манометрах нет делений: одни лишь цветные условные значки.

Если у меня есть желание работать, если меня действительно интересуют исследования в области диабета, ради Бога, она возражать не будет, как, впрочем, и помогать мне, ей и без того есть чем заниматься. Что же касается готовки, тут я могу рас-

* Католическая партия, основанная в 1919 г. и запрещенная в 1926 г., предшественница Христианской демократической партии.

считывать и на нее, и на Вариско. Им обеим не мешает потренироваться перед вступлением в брак, и, если они станут мне готовить, я не буду больше иметь хлопот с продовольственными карточками. Я выразил сомнение относительно приготовления еды в лаборатории, но Джулия заверила меня, что сюда ни одна живая душа не заглядывает, только раз в месяц (да и то предупредив заранее) из Базеля приезжает похожий на мумию таинственный советник, который, не проронив ни слова, проходит по лаборатории, как по музею. Сколько она себя помнит, командор ни разу сюда носа не сунул, так что здесь можно делать все, что хочешь, лишь бы следов не оставалось.

Через несколько дней после того, как я поступил на работу, командор вызвал меня в дирекцию. На этот раз я заметил фотографии с парусной лодкой, вполне, кстати сказать, пристойные. Командор сказал, что пора заняться делом. Первое, что я должен сделать, — это пойти в библиотеку и попросить у Палетты книгу Керрна о диабете. Я ведь знаю немецкий, не так ли? Отлично, значит, смогу прочесть ее в оригинале, а не в ужасном французском переводе, который заказали в Базеле. Сам он, по его признанию, прочел работу в переводе и, хотя мало что понял, успел убедиться: этот доктор Керрн большой знаток, и было бы здорово первыми воплотить его идеи в жизнь. Бесспорно, писал он немного путано,

но там, в Базеле (в первую очередь, конечно, мумифицированный советник), придают большое значение производству таблеток от диабета. Когда я возьму в библиотеке Керрна и внимательно его прочту, мы поговорим подробнее, но пока, не теряя времени, надо начинать работу. Из-за крайней занятости он не смог уделить труду доктора заслуженного внимания, но две основные идеи он из этого труда почерпнул и хотел бы их проверить на практике.

Первая идея касается антоцианов. Он надеется, мне известно, что антоцианы — это пигменты красных и голубых цветов, которые легко подвергаются окислению и восстановлению. Такими же свойствами обладает и глюкоза. А диабет есть не что иное, как аномальное окисление глюкозы. Следовательно, можно попытаться стабилизировать окисление глюкозы с помощью антоцианов. Лепестки васильков очень богаты антоцианами, поэтому он, понимая всю важность проблемы, велел засеять васильками целое поле, а затем собрать лепестки и высушить их на солнце. Моя задача — попытаться получить из сушеных лепестков экстракт и проверить его действие на кроликах, контролируя содержание в их крови сахара.

Вторая идея более неопределенная и в то же время, несмотря на запутанность, более простая. Согласно все тому же доктору Керрну, переложенному командором с французского языка на ломбардский

диалект, фосфорная кислота играет ключевую роль во взаимодействии с углеводами. На это возразить было нечего, гораздо менее убедительной мне показалась гипотеза командора, основанная на голословном утверждении Керрна, будто бы достаточно ввести диабетика немного фосфора растительного происхождения, чтобы восстановить нарушенный обмен веществ. В то время я был еще настолько наивен, что верил, будто начальство можно переубедить, а потому позволил себе несколько возражений. Но после каждого моего возражения командор становился все жестче и тверже, как медная пластина после удара молотком. Наконец он прервал меня на полуслове и приказным тоном посоветовал провести анализ, выбрать растения, наиболее богатые органическим фосфором, приготовить из них вышеупомянутые экстракты и ввести их вышеупомянутым кроликам. Напоследок он пожелал мне успехов в работе и приятного вечера.

Когда я пересказал Джулии наш разговор, ее вывод был однозначен и неумолим: старик сбрендил! Но виноват, по ее мнению, я, потому что затеял с ним спор и тем самым показал, будто принимаю его всерьез. Интересно, как я буду теперь выпутываться из этой истории с васильками, фосфором и кроликами? Впрочем, она убеждена: мое трудовое рвение вызвано тем, что у меня нет девушки. Если бы у меня была девушка, я думал бы о ней, а не об

антоцианах. Ей, Джулии, правда, жаль, что она не свободна, потому что она разбирается в таких, как я: безынициативный, готовый в любой момент сбежать, я из тех, кого надо крепко взять за руку и вести по жизни, мало-помалу ослабляя хватку. Ну, ничего, в Милане у нее есть кухня, правда, тоже немного застенчивая, и она, Джулия, подумает, как нас познакомить. Но я и сам, черт побери, должен о себе позаботиться! У нее сердце разрывается, когда она видит, как я трачу свои лучшие молодые годы на всю эту ерунду.

Джулия была немного ведьма, читала по руке, посещала ясновидящих, видела провидческие сны, и иногда мне даже казалось, что поспешность, с которой она стремилась освободить меня от постоянной тоски и дать мне скромную порцию радости, была продиктована смутным предчувствием моей судьбы и бессознательным желанием отвести ее от меня.

Мы вместе посмотрели «Набережную туманов»; фильм нам очень понравился, мы признались друг другу, что пока смотрели его, представляли себя на месте главных героев: худенькая темноволосая Джулия — на месте неземной Мишель Морган с прозрачным, как лед, взглядом; я, застенчивый, неуверенный в себе — на месте Жана Габена — дезертира, сердцееда, хулигана, которого в конце убивают. Почему эти двое могли любить друг друга, а мы нет, разве это справедливо?

Когда фильм уже заканчивался, Джулия потребовала, чтобы я проводил ее домой. Я сказал, что должен идти к зубному врачу, но Джулия ответила, что, если я отказываюсь, она сейчас закричит: «Убери руки, грязная свинья!» Я попытался что-то возразить, но она набрала в легкие воздух и выкрикнула в темный зал «Убери...», после чего я позвонил врачу и проводил ее до дому.

Джулия была настоящая львица: она могла простоять десять часов на ногах в поезде, набитом беженцами, чтобы провести два часа наедине со своим женихом, сиять от счастья, если удавалось выйти победительницей из жестокой словесной дуэли с командором или Лореданой, но боялась насекомых и грома. Когда Джулия звала меня, чтобы я убрал с ее рабочей стойки паучка (убивать его было нельзя, а надо было положить в бюкс, вынести из лаборатории и выпустить на травку), я чувствовал себя мужественным и сильным, как Геркулес перед сражением с Лернейской гидрой, и одновременно пойманным в сети, поскольку в просьбе Джулии заключался мощный женский призыв. Если случалась гроза, Джулия выдерживала две вспышки молнии, а с третьей бросалась ко мне. Я ощущал своим телом тепло ее тела, и меня охватывало новое головокружительное чувство, которое я испытывал прежде только в снах, но сомкнуть объятья не решался. Если бы я сделал это, возможно, ее и моя судьбы пока-

тились бы совсем по другим рельсам навстречу нашему общему неведомому будущему.

Библиотекарша охраняла библиотеку, как несчастные дворовые цепные собаки, озлобленные постоянной несвободой и недоеданием, охраняют свою территорию. Или, скорее, как старая беззубая кобра из «Книги джунглей», побелевшая от многовекового пребывания в темноте, королевское сокровище. Увидев бедняжку Пальетту впервые, можно было подумать, что природа сыграла с ней злую шутку: щупленькая, маленькая, плоская как доска, поблекшая, с бледной, словно восковой кожей, чудовищно близорукая. Она носила очки с такими толстыми и вогнутыми стеклами, что, встретившись с ней взглядом, можно было подумать, будто ее бледно-голубые, почти белесые глаза смотрят на тебя из самой глубины черепа. Ей наверняка было не больше тридцати, но представить себе ее юной было невозможно: казалось, она такой и родилась в этой полутемной, пропахшей плесенью библиотеке. Никто про нее ничего не знал, командор говорил о ней с еле сдерживаемым раздражением, Джулия была к ней безжалостна и не скрывала своей совершенно не мотивированной, инстинктивной ненависти: так волк ненавидит собаку. Она говорила, что от библиотекарши несет нафталином и что, судя по ее лицу, она страдает запорами.

Пальетта поинтересовалась, зачем мне нужен именно Керрн, попросила мое удостоверение личности, недоверчиво его изучила, велела мне расписаться в регистрационном журнале и с явной неохотой выдала книгу.

Книга оказалась странной. Трудно себе представить, чтобы она могла быть написана и выпущена где-нибудь еще, кроме Третьего рейха. Автора нельзя было обвинить в непрофессионализме, но каждая страница дышала самодовольством человека, уверенного в том, что его утверждения никто не осмелится оспорить. Он не писал, он вещал как пророк, словно знания о метаболизме глюкозы получил на Синае от самого Иеговы или в Вальхалле от Вотана. Возможно, я был несправедлив, но теории Керрна сразу же вызвали у меня резкое неприятие, впрочем, и теперь, когда прошло уже тридцать лет, я не изменил своего мнения.

История с антоцианами, начавшаяся с живописных сушеных васильков, очень быстро закончилась. Мешки нежных синих лепестков, сухих и ломких, как тонкие ломтики жареного картофеля, шли на создание экстракта, который получался каждый раз разного цвета, что само по себе тоже довольно живописно. После нескольких дней бесплодных усилий, еще до испытания на кроликах, я получил от командора инструкцию приостановить эксперимент. Я не переставал удивляться, что швейцарец,

стоящий двумя ногами на земле, мог попасть под влияние фанатичного мечтателя, и я, когда представился удобный случай, осторожно ему об этом сказал, но он грубо оборвал меня, возразив, что не мое дело критиковать профессоров. Он дал мне понять, что платит только за результат, поэтому посоветовал не тратить времени зря и скорее заняться фосфором. Он был убежден, что с фосфором нам больше повезет.

Я принялся за работу, мало веря в успех; зато я был уверен в том, что командор, а возможно, и сам Керрн находились под впечатлением общепринятых представлений о фосфоре — светящемся элементе, *носителе света*. Фосфор есть в мозгу и есть в рыбах, поэтому считается, что, если есть рыбу, обязательно поумнеешь. Фосфор есть в растениях, без него они не растут, в глицерофосфатах, которыми сто лет назад лечили анемичных детей, в спичечных головках, которые в отчаянии ели девушки, желая свести счеты с жизнью из-за несчастной любви, в блуждающих огнях или светящихся гнилушках, сбивающих с дороги путника. Да, фосфор — вовсе не нейтральный элемент в эмоциональном плане, поэтому можно понять профессора Керрна, наполовину биохимика, наполовину чародея, который в условиях всеобщего увлечения черной магией при «нацистском дворе» придал фосфору статус лекарственного средства (*medicamentum*).

Кто-то каждую ночь на балконе оставлял для меня растения, всегда разные, но явно с одного огорода: лук, чеснок, морковь, лопух, черника, тысячелистник, шалфей, розмарин, шиповник, можжевельник, — мне трудно было понять, по какому принципу они отбирались. День за днем я определял общее количество и процент содержания неорганического фосфора в каждом из них, чувствуя себя ослом, который ходит по кругу, вращая ворот. Если на предыдущем месте я с воодушевлением делал анализ породы в надежде получить никель, то теперь схожая работа по выявлению фосфора навевала тоску, потому что делать то, во что не веришь, чистое наказание. Даже Джулия, которая, напевая вполголоса «Весна настала, просыпайтесь, детки!», готовила в соседнем помещении еду в термостойкой лабораторной посуде, помешивая ее термометром, не могла поднять мне настроение. Время от времени она подходила ко мне, чтобы спросить с издевательским видом, как успехи.

Мы оба, Джулия и я, заметили, что тот, кто оставлял растения, оставлял еще и следы своего присутствия: закрытый с вечера на ключ шкаф утром оказывался открытым, штатив перемещался на другое место; заслонка вытяжного колпака, оставленная на ночь открытой, была плотно задвинута. Как-то дождливым утром мы обнаружили на полу след от рифленной подошвы. Обувь на рифленной подошве

носил командор, и Джулия решила, что он приходит в лабораторию по ночам заниматься любовью с Лореданой. Я же предположил, что эта лаборатория с ее показным порядком должна была служить еще для каких-то таинственных опытов. Мы стали систематически вставлять щепочки в запертые на ключ двери, соединявшие лабораторию с производственным помещением, и каждое утро щепочки оказывались на полу.

Через два месяца у меня было готово примерно сорок результатов анализов. Наибольшее содержание фосфора оказалось в шалфее, чистотеле и петрушке. Я считал, что теперь мне надо исследовать, каким образом связывается фосфор, а затем выделить фосфорное соединение, однако командор, позвонив в Базель, сказал, что времени на все эти тонкости нет и пора приступать к приготовлению экстрактов, а для этого ничего, кроме горячей воды, небольшого пресса и вакуумной установки, не потребуется. Приготовленный экстракт я должен буду вводить в пищевод кроликам и измерять содержание сахара у них в крови.

Кролики — малосимпатичные животные. Из всех млекопитающих они наименее близки человеку, возможно, потому, что способны только есть да спариваться, а их застенчивость, безответность и пугливость люди всегда считали постыдными качествами. Если исключить деревенских кошек в дале-

ком детстве, я никогда не прикасался к животным, и кролики вызывали у меня отвращение. У Джулии тоже, но, к счастью, Вариско ладила и с самими животными, и с Амброджо, который за ними ухаживал. Она открыла ящик стола и показала нам небольшой набор специальных приспособлений. Среди них была узкая высокая коробка без крышки. Вариско объяснила нам, что кролики любят прятаться, и если брать их за уши (уши кролика все равно что ручка сковородки) и сажать в такую коробку, то они будут чувствовать себя спокойно и сидеть тихо. Она показала также резиновый зонд и маленькое деревянное веретено с поперечным отверстием в центре. Веретено нужно было вставить как распорку между зубами животного, а потом через отверстие просунуть ему в горло зонд без особых церемоний и проталкивать до тех пор, пока он не упрется в дно желудка. Если не пользоваться деревянной распоркой, кролик перекусит зубами зонд, проглотит его и умрет. Экстракт через зонд можно вводить обыкновенным шприцем.

Затем надо измерить сахар в крови. Для этого у мышей служит хвост, а у кроликов всё те же уши. Если их несколько раз сжать, вены, и без того толстые и выпуклые, еще больше набухают. Введя в вену иголку, надо взять одну каплю крови, а дальше, не мудрствуя лукаво, действовать по методике Крецелиуса и Зейферта. Кролики или очень терпеливы,

или малочувствительны к боли, во всяком случае, ни одна из процедур, казалось, не вызывала у них страданий. Едва их возвращали обратно в клетку, они сразу же успокаивались, начинали жевать сено и перед следующей процедурой никакого страха не выказывали. Спустя месяц я уже мог брать кровь на сахар с закрытыми глазами, хотя, судя по результатам, наш фосфор никакого действия на организм не оказывал. Всего один кролик отреагировал на экстракт из чистотела снижением уровня сахара, но через несколько недель у него в горле развилась большая опухоль. Командор велел мне опухоль вырезать, и я, дрожа от страха и мучаясь угрызениями совести, сделал операцию, после чего кролик умер.

Эти кролики по приказу командора жили каждый в отдельной клетке, в условиях строгого целибата. Но однажды во время ночной бомбардировки все кроличьи клетки раскрылись, и утром мы обнаружили животных на газоне, старательно спаривающихся друг с другом: бомбы их совсем не напугали. Едва освободившись, они стали рыть норы и при малейшей опасности прерывали исполнение своих супружеских обязанностей и прятались в укрытиях. Амброд-жо стоило больших усилий выловить их и запереть в новые клетки, но исследование пришлось прервать: дело в том, что все данные значились на старых клетках, поэтому после рассеяния кроличьего народа вы-

числить, с какими кроликами проводился эксперимент, было уже невозможно.

Как-то, в промежутке между процедурами, ко мне подошла Джулия и сказала, что ей нужна моя помощь. Я ведь приехал на завод на велосипеде, верно? Так вот, сегодня вечером после работы ей нужно быть у Порты Дженова, а добираться туда неудобно, с тремя пересадками. Опаздывать она не может, это очень важное дело, поэтому просит меня довести ее туда на велосипеде, я согласен? Поскольку в безумном расписании командора значится, что работу я заканчиваю на двенадцать минут раньше, чем она, мне придется подождать ее за углом; она выйдет, я посажу ее на раму, и мы поедем. В те времена ездить на велосипеде по Милану, одному или с седоком на раме, было в порядке вещей. Когда город бомбили, люди переезжали, велосипедиста мог остановить даже незнакомый человек и попросить за четыре-пять лир отвезти его из одного конца города в другой.

Джулия, которая всегда отличалась непоседливостью, в тот вечер была особенно возбуждена. Мешая мне править и грозя опрокинуть велосипед, она судорожно сжимала руль, неожиданно меняла положение тела, крутила головой и сопровождала свою речь энергичной жестикуляцией. Мне стоило большого труда удерживать равновесие. Сначала я

не мог понять, что ее вывело из себя, потому что она отделялась общими фразами, но, поскольку не в ее характере долго хранить секреты, к середине улицы Имбонати она разговорилась, а когда мы проезжали мимо Порты Вольта, выложила мне все. Оказывается, она была в ярости оттого, что его родители сказали *нет*, и она готовилась постоять за себя.

— Почему они против? Я что, недостаточно для них красива? — кричала она, гневно тряся руль.

— Ничего они не понимают, — отвечал я со всей серьезностью, — мне ты кажешься вполне красивой.

— Не прикидывайся, ты так не считаешь.

— Нет, считаю. К тому же я думал, тебе приятно услышать комплимент.

— Мне сейчас не до комплиментов. А если ты надумал за мной ухаживать, я тебя сброшу на землю.

— И сама упадешь вместе со мной.

— Дурак ты! Ладно, крути педали, мы и так опаздываем.

Когда мы доехали до площади Кайроли, я знал уже все. Точнее говоря, я обладал всеми деталями, но они были настолько перепутаны и перемешаны, что расположить их последовательно и выстроить всю конструкцию мне было очень сложно.

Прежде всего, было непонятно, почему этот «он» не наберется храбрости и не разрубит этот узел. Это же просто непостижимо, неприлично! Действитель-

но ли он такой, как его описывала Джулия, — великодушный, надежный, любящий и серьезный? Но если он и вправду влюблен в эту ершистую девчонку, которая сейчас мешает мне рулить и которую злость только красит, почему он, вместо того чтобы приехать в Милан и все уладить, сидит сиднем в какой-то пограничной казарме, родину якобы защищает? Конечно, он же *гой*, поэтому и в армии служит... И пока Джулия продолжала ругаться со мной, как будто это я ее жених, во мне росла ни на чем не основанная ненависть к сопернику. Он *гой*, она *гуйя*, как говорили мои предки, они могут пожениться. Впервые в жизни я почувствовал отвращение, оно поднялось во мне, как тошнота: вот что значит быть другим, вот расплата за то, что ты — соль земли. Везешь на раме девушку, которая тебе нравится, и не имеешь права даже помыслить о том, чтобы между вами возникла любовь; везешь ее на бульвар Гориция, чтобы помочь ей быть с другим; чтобы она исчезла из твоей жизни.

На бульваре Гориция перед домом № 40 есть скамейка; Джулия велела мне сесть на нее и ждать, а сама как вихрь влетела в подъезд. Я сел и стал ждать, отдавшись на волю печальных, мучительных мыслей. Не надо было строить из себя джентльмена, думал я, не надо было быть таким стеснительным и наивным; теперь всю оставшуюся жизнь я буду жалеть, что между нами ничего не было, что

нам нечего будет вспомнить, кроме нескольких эпизодов из университетской жизни и работы у командора. А может, еще не поздно? Может, эти опереточные родители останутся непреклонными, и Джулия выйдет от них вся в слезах, и я смогу ее утешить? Недостойные мечты. Гадко строить свое счастье на несчастье других. Наконец, как потерпевший кораблекрушение, который, выбившись из сил, идет ко дну, я погрузился в мысли, неотступно преследовавшие меня в последние годы: существование жениха, расовые ограничения — это лишь отговорки; на самом деле я просто не способен приблизиться к женщине; это мой приговор, пожизненный приговор, и обжалованию он не подлежит; я обречен до самой смерти испытывать зависть, мучиться неосуществимыми желаниями, жить одинокой бесцельной жизнью.

Джулия вышла через два часа, красная и возбужденная. Нет, не вышла, а пулей вылетела из подъезда. Можно было и не спрашивать, как все прошло, это было и так ясно.

— Я поставила их на место, — сказала она.

Мне стоило огромных усилий придать голосу естественность, когда я ее поздравлял. Но Джулию нельзя заставить поверить в то, во что не веришь сам, и скрыть от нее то, о чем думаешь. Освободившись от своего груза, празднуя победу, она посмотрела в мои затуманенные тоской глаза и спросила:

ФОСФОР

— О чем ты думал?

— О фосфоре, — ответил я.

Спустя несколько месяцев Джулия вышла замуж; шмыгая носом от душивших ее слез и отдавая Вариско распоряжения насчет моего питания, она со мной попрощалась. У нее много детей и нелегкая жизнь. Мы остались друзьями, видимся время от времени в Милане, говорим о химии и всяких умных вещах. Мы не жалуемся на свой выбор, на то, как сложились наши судьбы, но, когда встречаем друг друга, испытываем странное, беспокойное чувство (мы не раз описывали его друг другу): нам кажется, будто жизненные дороги, по которым нам выпало идти в разные стороны, — не наши дороги.

ЗОЛОТО

Известно, что туринцы, пересаженные на миланскую почву, не приживаются или приживаются плохо. Осенью тысяча девятьсот сорок второго года мы, семеро туринских друзей, юношей и девушек, по разным причинам перебрались в Милан, который война сделала мало гостеприимным городом. Наши родители (у кого из нас они еще были) из-за бомбардировок эвакуировались в сельские районы, а мы оказались здесь и жили общими интересами. Эудже был архитектор, он хотел восстанавливать Милан; по его мнению, лучшим урбанистом был Фридрих Барбаросса. Сильвио имел диплом доктора права, но писал трактат по философии на крошечных листочках веленовой бумаги и служил в транспортной конторе. Этторе работал инженером у Оливетти. Лина занималась любовью с Эудже и еще, совсем немного, картинной галереей. Ванда была, как и я, химик, но не могла устроиться на работу, из-за чего, будучи феминисткой, сердилась на всех мужчин. Ада приходилась мне кузиной, она работала в издательстве «Кор-

баччо»; Сильвио называл ее «дважды доктор» из-за того, что у нее было два диплома, а Эудже — «кузимо» (кузина Примо), на что она слегка обижалась. Я после замужества Джулии остался один со своими кроликами и, чувствуя себя не то вдовцом, не то сиротой, мечтал написать сагу об атоме углерода, чтобы донести до людей известную только химикам возвышенную поэзию фотосинтеза с участием хлорофилла. В конце концов я ее написал, только гораздо позже; она завершает эту книгу.

Если не ошибаюсь, все писали стихи. Все, кроме Этторе, который говорил, что инженеру писать стихи неприлично. Нас не смущало, что в то время, когда мир охвачен огнем, мы сочиняем лирические стихи в сумеречной манере, причем не слишком хорошие. Хотя мы и причисляли себя к противникам фашизма, фашизм манипулировал нами, как большинством итальянцев, обособляя нас от мира, оглупляя, превращая в пассивных циников.

Холод в домах из-за отсутствия угля и голодный карточный паек мы переносили с невеселым юмором и безоговорочно одобряли ночные налеты англичан: ведь наши далекие союзники не стремятся истребить именно нас своими жестокими бомбардировками, они демонстрируют силу, так что пусть себе бомбят. Мы размышляли так же, как размышляли тогда все итальянцы в униженной фашизмом Италии: немцы и японцы непобедимы, впрочем, амери-

канцы тоже; кровь будет литься рекой нескончаемо, но далеко отсюда, война продлится лет двадцать, а то и тридцать. О том, что она еще идет, узнавать мы сможем только из подтасованных сводок или из формальных извещений, которые будут приходить в семьи моих сверстников: такой-то, мол, и такой-то, «выполняя свой долг, героически погиб...». Бои на ливийском берегу, в украинских степях... никогда эта пляска смерти не закончится.

Каждый из нас делал свою ежедневную работу кое-как, не веря в то, что она имеет какой-то смысл и будет востребована завтра. Мы ходили на спектакли и концерты, которые иногда прерывались на середине сиреной воздушной тревоги, и это веселило нас и радовало: англичане и американцы были хозяевами неба, возможно, они когда-нибудь победят, и фашизму придет конец. Союзники сильны и богаты, они сами решают, что им делать, у них авианосцы и бомбардировщики «Либератор». У нас же нет ничего, нас объявили «другими», да мы и были другими: не принимали участия в глупых и жестоких играх арийцев, обсуждали пьесы О'Нила и Торнтон Уайлдера, карабкались на вершины горной гряды Гринье, влюблялись друг в друга, упражнялись в интеллектуальных спорах и пели прекрасные песни, которым Сильвио научился у своих друзей из Вальд'Аоста. О кошмаре, происходившем в те месяцы в оккупированной немцами Европе, в доме Анны

Франк в Амстердаме, в Бабьем Яру под Киевом, в Варшавском гетто, в Салониках, Париже, Лидице, у нас не было точных сведений; в смутные зловещие слухи, доходившие до нас от военных, вернувшихся из Греции или с русского фронта, нам не хотелось верить; наше нежелание знать объяснялось жизненным инстинктом, как в горах, когда твоя веревка перетерлась и вот-вот порвется, а ты об этом не знаешь и чувствуешь себя уверенно.

Но когда в ноябре сорок второго союзники высадились в Северной Африке, а в декабре русские одержали победу в Сталинграде, мы поняли, что история ускоряет шаг и война приближается к нам. В последние несколько недель каждый из нас выросл быстрее, чем за всю предыдущую жизнь. Вышли из тени люди, которых фашизм не согнул, — адвокаты, профессора, рабочие; мы увидели в них своих учителей, услышали от них ответы на вопросы, которые до этого тщетно искали в Библии, в химии, в горах. После двадцати лет вынужденного молчания они объяснили нам, что фашизм был бездарной формой шутовского и недалёковидного правления, что он попрал справедливость, втянув Италию в несправедливую, изнурительную войну, что он возник и утвердился в качестве стража пагубных законов и ненавистного порядка угнетения трудящихся на неконтролируемой прибыли эксплуататоров чужого труда, на молчании, вменённом тем, кто способен

думать и не хочет быть рабом, на постоянной продуманной лжи.

Они говорили нам, что безглагового неприятия режима недостаточно, что мы должны возмутиться и направить наше возмущение в русло борьбы, естественной и непримиримой, но при этом не научили нас, как делать бомбы и как стрелять из ружья.

Они рассказывали нам о Грамши, Сальвемини, Гобетти, Росселли*. Раньше мы ничего о них не слышали. Значит, существовала другая история, которая развивалась параллельно той, что нам навязывалась в лицее? За несколько месяцев мы лихорадочно и безрезультатно пытались заполнить пробел в своих знаниях, реконструировать события двух прошедших десятилетий, но новые персонажи присоединялись к «героям», вроде Гарибальди и Назарио Сауро**, а не становились для нас людьми из плоти и крови. Времени на продуманный выбор не осталось: в марте сорок третьего года начались забастовки в Турине — свидетельство того, что кризис не за горами; 25 июля, взорвавшись изнутри, пал итальянский фашизм; площа-

* Сальвемини и Гобетти — известные итальянские антифашисты. Антонио Грамши, основатель Коммунистической партии Италии, погиб в тюрьме в 1937 г.; братья Росселли, Карло и Нелли, были убиты в том же году во Франции.

** Назарио Сауро (1880—1916) — морской офицер, взятый в плен и повешенный австрийцами; герой Первой мировой войны.

ди заполнились толпами ликующих людей, но неожиданная радость свободы, обретенной страной в результате дворцовых интриг, продолжалась недолго: 8 сентября по дорогам Милана и Турина поползла серозеленая змея немецкой армии, и наступило безжалостное пробуждение. Спектакль закончился; теперь и Италия оказалась оккупированной страной — как Польша, как Югославия, как Норвегия.

Таким образом, после долгого опьянения словами, уверенные в правильности своего выбора, но не уверенные в выборе средств, не столько с надеждой, сколько с безнадежностью в душе, среди разрушенной и разделенной страны* мы вышли на тропу борьбы, чтобы помериться силами с противником. Наши пути разошлись; каждый, следуя собственной судьбе, пошел своей дорогой.

Самые безоружные и, скорее всего, самые неопытные партизаны Пьемонта, мы мерзли и голодали. Пока мы сидели в своем укрытии под метровым слоем снега, нам казалось, что мы в безопасности, но кто-то нас выдал, и на рассвете 13 декабря тысяча девятьсот

* В начале сентября Южная Италия капитулировала перед союзниками, где продолжало действовать правительство Бадольо; Северную и Центральную Италию оккупировали немецкие войска, вернувшие к власти Муссолини, который возглавил марионеточную Итальянскую социальную республику, известную также как «республика Сало».

сорок третьего года мы проснулись, окруженные отрядом фашистов. Их было триста человек, а нас одиннадцать с единственным на всех автоматом без патронов и несколькими пистолетами. Восемерым удалось бежать и укрыться в горах, а нас троих, Альдо, Гвидо и меня, еще толком не проснувшихся, схватили. До того как нас схватили, я успел закопать в золу остывшей печки свой револьвер, который хранил под подушкой, но, честно говоря, вряд ли смог бы использовать. Он был маленький, отделанный перламутром, из тех, что в отчаянии наставляют на себя героини фильмов, чтобы покончить с собой. Альдо, который был врачом, встал с постели, стоически закурил сигарету и сказал: «Жаль, что мои хромосомы останутся невостребованными».

Нас немного побили, предупредили, чтобы мы не делали «глупостей», пообещали допросить так, что мы им, «как миленькие», все расскажем, а затем сразу же расстрелять, после чего, окружив со всех сторон, с большой помпой повели к горному перевалу. Я был рад, что во время этого перехода, продолжавшегося несколько часов, успел сделать два важных дела: съесть по кусочкам свое слишком уж фальшивое удостоверение личности (фотография там была просто отвратительная) и, сделав вид, что споткнулся, выронить из кармана в снег записную книжку, полную адресов. Солдаты распевали героические военные песни, стреляли из автоматов по зайцам, бросали в

горный ручей гранаты, чтобы оглушить форель. Внизу в долине стояло много автобусов. Нас отделили друг от друга; солдатам, которые сидели и стояли вокруг, не было до нас никакого дела: они продолжали горланить свои песни. Совсем близко спиной ко мне стоял солдат, и у него за поясом была ручная граната — немецкая, с деревянной ручкой, из тех, что взрываются через определенное время после того, как из предохранителя вынуть чеку. Я мог дернуть за шнурок и погибнуть, умертвив заодно и нескольких солдат, но у меня не хватило духу. Нас отвезли в казарму на окраине Аосты. Фашистского центуриона звали Фосса*, но, как это ни странно и даже ни трагикомично, учитывая тогдашнее положение дел, как раз он давно уже лежит в могиле на заброшенном военном кладбище, а я, живой и невредимый, пишу эту историю. Нам повезло, что Фосса был законопослушным исполнителем и строго следовал предписаниям по содержанию заключенных, поэтому, изолировав друг от друга, нас поместили в одиночные подвальные камеры с койкой и парашей; кормили обедом в одиннадцать, давали час подышать воздухом. Запрет общаться друг с другом был мучительным, потому что каждый из нас хранил в сердце ужасную тайну, которая, поразив нас за несколько дней до ареста, его, в сущности, ускорила: мы чувствовали свою об-

* В переводе с итальянского означает «могила».

реченность, и это лишало нас воли к сопротивлению, даже к жизни; мы были растеряны, раздавлены, мы мечтали лишь о том, чтобы со всем этим скорее было покончено, чтобы с нами было покончено, но при этом нам хотелось разговаривать друг с другом, поддерживать друг друга, помогать друг другу справляться с тяжелыми мыслями. Нам конец, это ясно; мы попали в западню, каждый в свою, на свободу нам не выбраться. Хотя в романах, которые я совсем еще недавно глотал один за другим, описывались чудесные способы побегов, я, обследовав камеру пядь за пядью, очень скоро убедился, что убежать из нее невозможно: стены здесь толщиной в полметра, массивная дверь охраняется снаружи, на маленьком окошке решетки. У меня была пилка для ногтей, я мог бы перепилить одну решетку, даже, может быть, все и вылезти наружу, но окошко упиралось в толстую бетонную плиту, положенную специально, чтобы предохранить стекла от взрывной волны во время бомбардировок.

Нас вызывали на допросы. Хорошо, когда допрос вел сам Фосса — образцовый фашист, прямо-таки эталонный экземпляр, таких в обычной жизни не встретишь. Недалекий и бесстрашный, он воевал в Африке и в Испании (чем перед нами хвалился), но ратное ремесло хоть и оболванило его, но не ожесточило, не превратило в злобное животное. Ему долбили, что в крахе фашизма виноваты только двое —

король и Галеаццо Чиано*, который как раз в те дни был расстрелян в Вероне, и он свято в это верил. Бадольо — нет, не виноват, он солдат, как и Фоссо, он присягал королю и обязан сохранять верность присяге. И если бы не король и не Чиано, которые с самого начала были против вступления в войну, все сложилось бы иначе, Италия бы победила. Меня он считал легкомысленным, сбившимся с пути под дурным влиянием товарищей. Его классовое сознание не могло допустить даже мысли, что человек образованный, с университетским дипломом может быть подрывным элементом. Допрашивал он меня от нечего делать, стараясь поднять мой идеологический уровень и одновременно придать весу себе, но без инквизиторских замашек: он солдат, а не сбир. Ни разу он не поставил меня своим вопросом в затруднительное положение, ни разу не спросил, еврей ли я.

Другими были допросы Каньи, их я боялся. Это Каньи выследил нас, по его милости нас арестовали. Он был предателем каждой клеткой своего тела, предателем не по фашистским убеждениям или в силу личной заинтересованности, а по натуре, по зову

* Граф Галеаццо Чиано — министр иностранных дел, зять и сподвижник Муссолини, голосовавший 25 июня 1943 г. за его отставку, а 11 января 1944 г. по решению суда Итальянской социальной республики казненный в Вероне за измену фашистскому режиму.

сердца, из вредности, из спортивного интереса, из садизма, как тот, кто стреляет на охоте в диких птиц только для того, чтобы проверить свою меткость. Ловкач и хитрец, он с помощью внушающих доверие рекомендаций проник в соседний с нами партизанский отряд, выдал якобы важные военные секреты немцев, оказавшиеся на деле фальшивками, сфабрикованными гестапо, усилил (якобы) охрану отряда, предложил поупражняться в стрельбе (рассчитывая, что при этом будет израсходована большая часть боеприпасов), потом сбежал в долину и появился снова уже во главе фашистской центурии, которая стала прочесывать местность. У него было бледное, рыхлое лицо, возраст — около тридцати; он сел за стол и первым делом клал на письменный стол свой парабеллум, потом начинал допрос, который мог продолжаться несколько часов без перерыва. Он хотел знать все и постоянно грозил пытками и расстрелом, но я, к счастью, почти ничего и никого не знал, а тех немногих, кого знал, не назвал ему. Моменты фальшивого сочувствия чередовались со вспышками гнева, тоже фальшивого. Мне он сказал (возможно, блефуя), что знает, что я еврей, но что для меня это лучше. Я должен решить: еврей я или партизан. Если партизан — меня поставят к стенке; если еврей — отправят в сборный лагерь, есть такой в Карпи, они там не такие кровожадные, можно продержаться до окончательной победы. Я решил назваться евреем; частично из-

за усталости, частично, из какого-то необъяснимого гордого упрямства, хотя ему не поверил: разве не он сам сказал, что уже через несколько дней командование этой казармой перейдет в руки эсэсовцев?

В моей камере была одна тусклая лампочка, которая не выключалась ни днем, ни ночью. Читать при ее свете можно было с трудом, но я читал, много читал, потому что боялся, что у меня осталось мало времени. На четвертый день, когда меня вывели на часовую прогулку, я незаметно положил в карман большой камень, чтобы попытаться установить связь с Гвидо и Альдо, чьи камеры находились справа и слева от моей. Целый час я, как заживо погребенные рудокопы в романе Золя «Жерминаль», выстукивал условным стуком всего одну фразу, а потом прижал к стене ухо в надежде получить ответ, но вместо него услышал лишь бодрые песни, которые орали солдаты в столовой над нашими головами.

Еще у меня в камере жила мышь. Днем она составляла мне компанию, а ночью лакомилась моим хлебом. Одну из двух имевшихся в камере походных кроватей я сложил, поставил вертикально и на ночь убирал свой хлеб на самый верх, не забывая отщипнуть и оставить на полу несколько крошек для мыши. Мое положение было не лучше, чем ее, может быть, даже хуже. Я представлял себе лесные дороги, снег, безразличные ко всему горы, множество прекрасных

дел, которыми, если бы был сейчас на свободе, мог бы заняться, и к горлу подступал комок.

Было очень холодно. Я постучал в дверь. Появился солдат, исполнявший обязанности надзирателя, и я сказал ему, что хотел бы поговорить с Фоссой. Этот солдат ударил меня при аресте, но, когда узнал, что я образованный, извинился: «Простите, доктор, Италия — странная страна». Отвести меня к Фоссе он отказался, но принес для нас троих по одеялу и разрешил греться каждый вечер перед отбоем по полчаса в котельной.

В тот же вечер он пришел за мной, причем не один: с ним был другой заключенный, о существовании которого я и не подозревал. Жаль! Если бы он привел Гвидо или Альдо, было бы намного лучше, но все равно это было живое существо, с которым можно было перекинуться парой слов. Солдат отвел нас в закопченную котельную с низким потолком, большую часть которой занимал сам котел. Зато здесь было тепло! Солдат велел нам сесть на лавку, а сам устроился на стуле в дверях с автоматом между колен, заблокировав таким образом выход, и уже через несколько минут потерял к нам интерес и начал дремать.

Заключенный смотрел на меня с любопытством.
— Это вы, что ли, повстанцы? — спросил он меня.

Он был лет тридцати пяти, худой, сутулый, с вьющимися давно не чесанными волосами, отросшей

щетиной, большим крючковатым носом, тонкими губами и бегающими глазами. Его руки, узловатые, непропорционально большие, обветренные и словно обожженные солнцем, все время беспокойно двигались: то скребли одна другую, то гладили, как при умывании, то барабанили пальцами по лавке или по ноге; я заметил, что они слегка дрожат. Он него пахивало вином, из чего я заключил, что арестовали его совсем недавно. Говорил он с типичным для этих мест акцентом, хотя на крестьянина похож не был. Я отвечал на его вопросы уклончиво, но его это не смущало.

— Этот дрыхнет, можешь говорить спокойно. Если хочешь что-то передать на волю, не стесняйся, я передам, да и сам надеюсь скоро отсюда выйти.

У меня он не вызывал доверия.

— А ты за что сюда попал? — спросил я его.

— Контрабанда. Не захотел с ними делиться, вот и результат. Мы, конечно, договоримся, но пока они меня держат здесь, а это при моем ремесле никуда не годится.

— Это ни при каком ремесле никуда не годится.

— Не скажи, у меня ремесло особое. Контрабандой я занимаюсь только зимой, когда Дора замерзает. Я много чем занимаюсь, но начальника надо мной нет, мы — люди свободные. Этим и мой отец занимался, и мой дед, и все прадеды от начала времен, еще с тех пор, когда сюда римляне пришли.

Я не понял, при чем здесь замерзшая Дора: может быть, он рыбак?

— Знаешь, почему река Дорой называется? — спросил он. — Потому что золотая*, в смысле золотосносная. А когда она замерзает, золото не достать.

— Оно что, на дне?

— Да, в песке. Не везде, но во многих местах. И вода, которая несет его с гор вниз, накапливает его, где ей вздумается. В одной излучине много набросает, в другой — ничего. Наша излучина, которая передается у нас в роду от отцов к детям, самая богатая из всех. Она находится далеко и хорошо от чужих глаз укрыта. Но все равно лучше туда ходить ночью, чтобы никто не заметил. Поэтому, когда река замерзает сильно, как, например, в прошлом году, работать нельзя: только дырку продолбишь, она снова затягивается, да и руки не выдерживают. Если бы я был на твоём месте, а ты на моём, честное слово, я открыл бы тебе, где наше место.

Меня больно резанули его последние слова. Я и без него знал, что положение мое незавидно, но услышать это от постороннего было неприятно. Впрочем, мой собеседник, поняв, что совершил промах, попробовал неуклюже оправдаться:

— Я хотел сказать, что бывают такие секреты, которыми даже с лучшими друзьями не делятся. Я жи-

* В итальянском языке игра слов: *Dora* и *d'oro* (золотой).

ву этим, другого заработка у меня нет, но я бы даже с банкиром не поменялся. И не думай, что золота очень много; наоборот, его совсем мало. Моешь песок всю ночь и намоешь к утру каких-то два грамма, но главное — оно никогда не кончается. Можешь вернуться на это место завтра, можешь через месяц, когда только захочешь, и снова найдешь золото: оно вырастает, как трава на лугу, так было и так будет всегда. Мы самые свободные люди на свете, вот почему я с ума схожу, что меня тут заперли. Может, ты думаешь, что мыть песок просто? Ошибаешься, это не каждый умеет. Меня, например, этому научил отец, меня одного, потому что я самый сообразительный, остальные братья на заводе работают. И чашу свою он мне оставил.

Согнув блюдечком огромную правую руку, он продемонстрировал мне, как надо вращать чашу.

— День на день не приходится, — продолжал он, — лучший улов в ясную погоду, когда луна в последней четверти. Почему это так, объяснить не могу, если хочешь, можешь сам проверить.

Про себя я оценил предложение. Конечно, проверю, отчего же не проверить? В те дни, когда я довольно мужественно ждал смерти, мне особенно остро хотелось попробовать в жизни все, что уже освоено человеческим опытом; я оглядывался на свою прошлую жизнь, и мне казалось, что я мало и плохо использовал отпущенное мне время; я чувст-

вовал, как оно, точно песок, скользило между пальцами, утекало из моего тела с каждой минутой, как кровь во время кровотечения, которое не удастся остановить. Конечно, мне хотелось бы заняться поисками золота. Не для того, чтобы разбогатеть, а чтобы освоить новое ремесло, вернуться к земле, воздуху и воде, от которых меня отделяла разраставшаяся с каждым днем пропасть, вновь обрести профессию химика в ее основной, первоначальной форме, в форме *Scheidekunst* — искусства отделять металл от пустой породы.

— Я его не подчистую продаю, оно мне самому нравится, — продолжал мой собеседник. — Откладываю понемногу и два раза в год плавлю и обрабатываю. Я не ювелир, но мне нравится работать с золотом, придавать ему форму молоточком, гравировать, наносить узор. Меня богатство не интересует, для меня главное — жить свободно, без собачьего ошейника, работать, когда хочется, а не когда приходят и кричат: «А ну, давай, за дело!» За это я и страдаю, сижу здесь, а главное, время драгоценное теряю.

Солдат на своем посту заснул, и автомат, который он сжимал коленями, с грохотом упал на пол. Мы с золотодобытчиком обменялись быстрыми взглядами и, поняв друг друга без слов, разом поднялись с лавки, но не успели сделать и шага, как солдат поднял оружие, пришел в себя, посмотрел на часы, выругался на венецианском диалекте и грубо проворчал, что пора

по камерам. В коридоре мы встретили Гвидо и Альдо, которые, в сопровождении другого надзирателя, шли занять наши места в душной и пыльной котельной. Мы кивнули друг другу в знак приветствия.

В камере меня встретили одиночество, ледяное и чистое дыхание горного воздуха, проникавшего через форточку, страх перед завтрашним днем. В тишине комендантского часа, прислушавшись, можно было услышать журчание Доры, потерянной навсегда, как были потеряны все друзья, молодость, радость и, скорее всего, жизнь. Равнодушная Дора текла совсем рядом, неся в своем ледяном чреве золото. Я чувствовал, как меня охватывает жгучая зависть к моему подозрительному знакомому, который скоро вернется к своей непостоянной, зато вольной работе, к неистощимому золотому потоку, к череде бесконечных дней.

ЦЕРИЙ

О том, что мне, химику, пишущему сегодня свои химические истории, пришлось пережить другие времена, я уже рассказывал.

Спустя тридцать лет я с трудом могу представить себя тем человеческим существом, которое в ноябре тысяча девятьсот сорок четвертого года имело мое имя, а точнее сказать, мой номер — 174 517. Преодолев мучительный кризис, вызванный необходимостью подчинения лагерному порядку, я сумел развить в себе особую защитную реакцию, благодаря чему не только выжил, но сохранил способность думать, осознавать окружающий меня мир и даже заниматься довольно тонкой работой в условиях постоянной, ежедневной угрозы смерти и исступленного ожидания русских освободителей, от которых нас отделяли уже какие-то восемьдесят километров. Отчаяние и надежда сменялись в таком лихорадочном темпе, выдержать который было бы не под силу нормальному человеку.

Но мы нормальными не были, потому что хотели есть. Наш тогдашний голод не имел ничего общего со знакомым каждому ощущением легкой пустоты в желудке из-за пропущенного обеда (в чем нет ничего страшного, если впереди ужин); он был неотступной потребностью, постоянной нехваткой, *yearning**; он преследовал нас уже год, пустил корни в наших телах, проник в каждую клетку, определял наши поступки. Есть, доставать еду — было главной целью, проблемой номер один, за которой с большим отрывом следовали все остальные проблемы выживания, отодвинув в самый конец воспоминания о доме и страх смерти.

Я работал химиком на химическом предприятии, в химической лаборатории (об этом я тоже уже рассказывал) и воровал, чтобы есть. Воровать, если ты не приучен к этому с детства, трудно. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы преодолеть внутренние запреты и приобрести необходимые навыки, но в конце концов я констатировал (с чувством глубокого удовлетворения и даже с некоторым злорадством) факт своего перерождения: из хорошего дипломированного специалиста я, подтверждая инволюционно-эволюционную теорию Дарвина, превратился в подобие знаменитой собаки, великого Бэка из «Зова предков» Джека Лондона, который, будучи «депорти-

* Острая тоска (англ.).

рован», стал вором, чтобы выжить в своем «лагере» на Клондайке. Как и он, я воровал при каждом удобном случае, воровал с большой изворотливостью и осторожностью, воровал все, включая хлеб своих товарищей.

В плане того, что можно было украсть с выгодой для себя, лаборатория, где я работал, предоставляла экспериментатору широкое поле деятельности. Здесь имелись бензин и спирт, самая банальная и неудобная добыча многих, работавших на предприятии; спрос на эту продукцию был велик, впрочем, как и риск, поскольку для жидкостей нужны емкости. Проблема упаковки и хранения жидкостей — серьезная проблема, она знакома любому химику, в том числе и самому Творцу, который, столкнувшись с ней, разрешил ее блестяще, поместив каждую клетку в отдельную камеру, яйцо — в скорлупу, апельсин — в многослойную кожуру, а на нас натянул кожу, потому что мы тоже, в сущности, жидкость. В то время еще не существовало полиэтилена, который очень бы мне пригодился, поскольку он мягкий, легкий и совершенно не промокает. Правда, он еще и плохо разлагается, из-за чего крупнейший специалист в области полимеризации уклонился от лицензирования этого материала: Он, Творец, не любит ничего нетленного.

При отсутствии подходящей тары идеальный объект кражи должен был быть твердым, не подвер-

женным порче, не громоздким и не объемистым, поскольку, когда мы возвращались с работы, нас часто обыскивали в воротах лагеря. Но главное — он должен был быть новым, обладать безусловной ценностью и пользоваться спросом хотя бы у одной из социальных групп, составлявших сложный лагерный мир.

Чего только я не пытался украсть из лаборатории! Однажды стащил около трехсот или четырехсот граммов жирных кислот, которые с большим трудом получил путем окисления парафина один мой коллега из вражеского стана. Половину я съел; эти жирные кислоты хорошо утоляли голод, но имели такой отвратительный вкус, что продать остаток я не решился. Пробовал я печь олады из гигроскопической ваты, прижимая ее к конфоркам электрической плиты; слегка напоминая по вкусу жженый сахар, они выглядели настолько неаппетитно, что об их товарной стоимости и речи быть не могло. Тогда я попытался продать вату в санчасть, но дали за нее мало, да и пронести ее в лагерь было нелегко. Еще я глотал и пытался переваривать глицерин, полагая, что раз он продукт расщепления жиров, значит, должен по логике вещей способствовать обмену веществ и давать калории. Калории, возможно, он и давал, но побочный эффект от него был очень неприятный.

На одной из полок стояла таинственная коробка с двадцатью твердыми серыми цилиндриками. Короб-

ка была без запаха и без этикетки. Последнее казалось странным, потому что лаборатория была немецкая. Да, верно, русские находились всего в нескольких километрах, катастрофа была неминуема, почти осязаема; бомбардировки продолжались целыми днями, все понимали: война кончается. Тем не менее что-то оставалось пока незыблемым, и это в первую очередь — наш голод и то, что лаборатория была немецкая, а немцы никогда не забывают про этикетки. В самом деле, на всех остальных коробках и бутылках этикетки были — четкие, отпечатанные на машинке или написанные от руки красивым готическим шрифтом, и только на одной-единственной коробке ничего не было написано.

В тогдашней ситуации я не имел возможности спокойно исследовать природу этих маленьких серых цилиндров, поэтому счел за лучшее спрятать три из них в карман и отнести в лагерь. Длинной они были около двадцати пяти миллиметров и диаметром около пяти.

Вечером я показал находку своему другу Альберто. Альберто достал из кармана ножичек и попробовал отрезать кусочек, но цилиндрик оказался тверже лезвия. Когда же, ковырнув его, он высек с легким треском пучок желтых искр, сомнений не осталось: у нас в руках был ферроцерий, а проще говоря, сплав железа с церием, из которого обычно делают кремнии для зажигалок. А эти почему такие большие? Аль-

берто, который несколько недель работал подсобником у сварщиков, объяснил мне, что такие цилиндры вставляются в концы трубок кислородно-ацетиленовых горелок для высекаания искры. Я расстроился; если моя добыча может служить лишь для получения огня, шансы заработать невелики: в спичках (нелегальных) недостатка в лагере не было.

Альберто меня осудил. Проявление малодушия, пессимизма, уныния вызывало у него отвращение; он не принимал законы концентрационного лагеря, инстинктивно и сознательно отвергал их, не давал себя развратить и запачкать. Человек с доброй волей и сильным характером, он оставался на удивление свободным: не склонял голову, не гнул спину; его речь, его поступки дышали свободой, каждый жест, каждое слово, улыбка, были как брешь в лагерной стене; недаром всех, кто сталкивался с ним, тянуло к нему, даже если они не понимали его языка. Думаю, никого в лагере так не любили, как его.

Никогда нельзя раскисать, ругал он меня; это вредно для здоровья, безнравственно, да просто неприлично. Я украл церий, очень хорошо, теперь задача его продать, причем как можно дороже. Но это уже его забота, он выдаст его за новинку, за дорогостоящий товар. Прометей был дураком: ему надо было не дарить огонь людям, а продавать, тогда, подзаработав, он смог бы умиловить Зевса и избежать мучений. Хитрее надо быть.

Этот разговор о том, что надо быть хитрее, возникал у нас с Альберто не впервые. Он часто мне это говорил, но еще до него в свободном мире мне это говорили другие, и потом тоже многие повторяли мне это бесчисленное число раз и до сих пор повторяют без особого результата, даже, можно сказать, с обратным результатом, потому что у меня, как это ни парадоксально, стала наблюдаться опасная тенденция к симбиозу с самым что ни на есть настоящим хитрецом, который извлекает (или думает, что извлекает) из сожительства со мной временную или воображаемую выгоду. Альберто — тот был идеальный симбионт, потому что не использовал свою хитрость мне в ущерб. Я не знал, а он знал (он всегда знал всё обо всем, хотя не владел ни немецким, ни польским и только немного говорил по-французски), что на предприятии существует подпольное производство зажигалок. Безымянные мастера в свободные минуты делали их для привилегированных заключенных и вольнонаемных. А для зажигалок нужны кремни, причем определенного размера, значит, те, что у нас, надо уменьшить. Как уменьшить и на сколько? «Не ломай себе голову, — сказал Альберто, — это моя работа, от тебя требуется только украсть остальное».

На следующий день мне не составило труда выполнить наказ Альберто. Около десяти часов утра включились сирены, возвещая начало воздушной тревоги (*Fliegeralarm*). Это не было неожиданнос-

тью, но все равно каждый раз, когда выла сирена, нас всех охватывало тоскливое беспокойство, потому что звук ее был особенный, не такой, как у заводского гудка: он пронизывал до мозга костей, с необыкновенной силой разносясь по всей округе, поднимаясь с равными промежутками от низкой до пронзительно высокой ноты и снова сходя вниз, к глухим тонам. Сирена воздушной тревоги настолько соответствовала своему назначению, что должна была быть придумана специально, тем более что в Германии ничего случайного не бывало. Я часто думал, что такие звуки могли прийти в голову какому-нибудь музыканту от дьявола, вложившему в них ярость, плач, вой волка на луну и вопли Тифона. Примерно так должен был звучать и рог Астольфа*. Сирена вызывала панику не только потому, что извещала о бомбардировках, но и потому, что сами ее звуки вызывали ужас, точно это стонало раненое испанское животное.

Немцы боялись воздушных налетов больше нас; мы же, вопреки рассудку, почти не боялись, потому что знали: бомбы сбрасывают не на нас, а на наших врагов. В несколько секунд я оказался в лаборатории один; положив остававшийся в коробке церий себе в карман, я вышел наружу, чтобы присоединиться к своей команде. В небе уже стоял гул от бомбардиров-

* См. сноску к рассказу «Калий».

щиков и, медленно кружась, на землю опускались желтые листовки с издевательскими стихами:

Im Bauch kein Fett,	В животе нет сала
Acht Uhr ins Bett;	В восемь часов в постель;
Der Arsch kaum warm,	Едва жопа согрелась —
Fliegeralarm!	Воздушная тревога!

Нам не полагалось пользоваться бомбоубежищем; мы отправлялись на пустырь за строительной площадкой. Едва начали падать бомбы, я, распластавшись на замерзшей грязной земле с редкими травинками и сжимая в кармане твердые цилиндры, задумался о странностях своей судьбы, наших судеб, напоминающих листья на ветках, человеческих судеб вообще. Альберто считал, что кремень для одной зажигалки должен стоить дневной хлебной пайки, иначе говоря, одного дня жизни. Я украл примерно сорок цилиндров, каждый из которых можно было превратить в три кремешка. В общей сложности получалось сто двадцать кремней для зажигалок, или два месяца жизни моей и Альберто, а уж через два-то месяца русские точно придут и нас освободят, и своим освобождением мы будем обязаны церию, про который я тогда знал только одно: как он применяется на практике. Позже я узнал, что церий (не путать с серой) из таинственной, еретической семьи редкоземельных элементов, названный вовсе не в честь своего первооткрывателя (свидетельство скромности

химиков прежних времен), а в честь малой планеты Цереры, открытой в том же, 1801 году, что и металл; возможно, в этом был дружески-иронический намек на алхимические соединения: как Солнце связывалось с золотом, а Марс с железом, так Церера должна была связаться с церием.

Вечером я принес в лагерь цилиндры, а Альберто кусочек листового железа с отверстием, которое было точно такого калибра, какого требовалось добиться от цилиндра прежде, чем он превратится в кремешки, или, иначе говоря, в хлеб.

О том, что было дальше, стоит рассказать подробно. Альберто сказал, что цилиндры для утончения надо скоблить ножом, причем незаметно, чтобы об их секрете не узнали конкуренты. Когда? Ночью. Где? В бараке, на нарах, под одеялом, с риском для жизни: если случится пожар, нас повесят (такой приговор выносили всем, кто осмеливался зажечь в бараке спичку).

Всегда трудно оценивать безрассудные поступки, свои или чужие, после их благополучного завершения. Может, их не стоит считать такими уж безрассудными? Или в самом деле есть на свете такой бог, который покровительствует детям, дуракам и пьяным? Или еще одно предположение: может, безрассудства с благополучным концом важнее и нужнее неисчислимым безрассудств, закончившихся плохо, потому о них и рассказывают с большей охотой? Но

тогда мы не задавались подобными вопросами; лагерь приучил нас быть накоротке с опасностью и со смертью, риск попасть за еду на виселицу казался нам логичным, почти естественным.

Пока наши товарищи спали, мы работали ножами, ночь за ночью. Картина была грустная до слез: одна-единственная электрическая лампочка еле-еле освещала большой деревянный барак, и из его пещерной полутьмы проступали лица спящих — мертвенно-бледные, искаженные сном и сновидениями, с двигающимися челюстями, поскольку им снилась еда. У многих с края нар свисали голые, худые, как у скелетов, руки или ноги, кто-то стонал, кто-то говорил во сне.

Но мы двое были живы и не поддавались сну. Лежа с головой под одеялом с согнутыми в коленях ногами, мы под этим импровизированным тентом вслепую, на ощупь, скоблили и пилили цилиндры. При каждом прикосновении ножа слышалось слабое потрескивание и разлетались желтые искры. Время от времени мы делали перерыв в работе, чтобы проверить, входит ли цилиндр в контрольное отверстие. Если нет — продолжали скоблить, если да — разламывали утончившуюся до нужного размера болванку на мелкие кусочки и аккуратно складывали их отдельно.

Работали мы три ночи. Все прошло благополучно, никто не заметил нашей тайной деятельности, одеяла и матрацы не загорелись, и таким образом мы за-

ЦЕРИЙ

воевали свой хлеб, продливший нам жизнь, укрепили наше доверие друг к другу и нашу дружбу. О том, что случилось со мной дальше, я уже писал*. Альберто ушел пешком вместе с большинством заключенных, когда фронт был уже совсем рядом. Немцы заставили людей идти дни и ночи без отдыха по снегу и льду, пристреливая всех, кто не в состоянии был двигаться дальше. Потом тех немногих, кто остался в живых, погрузили на открытые платформы и отвезли в новые столицы рабства — в Бухенвальд и Маутхаузен. Лишь четвертая часть эвакуированных из Освенцима пережила этот переход.

Альберто не вернулся, от него не осталось никакого следа. Один его земляк, не то ясновидящий, не то обманщик, в течение нескольких лет после войны вытягивал из его матери деньги за утешительные известия, которые не соответствовали правде.

* См. автобиографические книги Primo Levi «Человек ли это?» («Текст», 2001) и «Передышка» («Текст», 2002).

ХРОМ

На второе была рыба, а вино у нас было красное. Версино, начальник эксплуатационного отдела, заявил, что все это ерунда, главное, чтобы и рыба, и вино были хорошие; он вообще уверен, что сторонники ортодоксального меню в большинстве своем не смогут с закрытыми глазами отличить стакан белого от стакана красного. Бруни из селитряного цеха поинтересовался, а не знает ли кто, почему к рыбе полагается белое. Последовали разные шуточные предположения, но исчерпывающего ответа никто не дал. Старик Кометто заметил, что в жизни полным-полно всяких вещей, которые невозможно объяснить, например синий цвет сахарной бумаги, застежку на разные стороны у мужчин и у женщин, форму носа гондолы, а также бесчисленные правила, что из еды с чем сочетается, а с чем нет. Наш случай был как раз из этого разряда: в самом деле, почему свиной рулет обязательно нужно есть с чечевицей, а макароны — с сыром?

Быстро прикинув в уме, не мог ли кто из присутствующих слышать раньше эту историю, я начал

рассказ про лук, жаренный в олифе. За столом, надо сказать, собрались профессионалы, знавшие толк в лакокрасочном производстве, и им было хорошо известно, что олифа на протяжении веков была основным продуктом в нашем деле. Ремесло у нас древнее и уже потому благородное: самое раннее упоминание о нем содержится в Книге Бытия (6:14), где рассказывается, как Ной, неукоснительно следуя указаниям Всевышнего, покрыл Ковчег снаружи и изнутри расплавленной смолой (вероятно, при помощи малярной кисти). В то же время можно сказать, что мы занимаемся обманом, поскольку целью нашей является маскировка, придание предмету несвойственного ему цвета и вида. В этом смысле наше ремесло сродни косметике и всякому украшательству — искусствам столь же древним, сколь и двусмысленным (см. *Книгу пророка Исаии 3:16 и далее*). Неудивительно, что, уходя корнями в глубины тысячелетий, искусство приготовления красок (несмотря на бесчисленные атаки смежных производств) сохраняет в складках своей коры кое-какие остатки давно уже вышедших из употребления обычаев и технологий.

Так вот, возвращаясь к олифе: я поведал своим со-трапезникам, что в одном справочнике, изданном в тысяча девятьсот сорок втором году, мне попала рекомендация при варке из льняного масла олифы добавлять ближе к концу процесса пару колечек лу-

ка. При этом ничего не сообщалось о том, для чего нужна эта странная добавка. В сорок девятом году я рассказал об этом синьору Джакомассо Олиндо, своему предшественнику и учителю, тогда уже перешагнувшему за седьмой десяток и пятьдесят лет жизни отдавшему производству красок. Добродушно улыбаясь в густые белые усы, он объяснил мне, что в те времена, когда он был молод и сам варил олифу, термометры еще не были в ходу; температуру определяли по виду пара, по скорости испарения плевка или более рациональным способом — погружая в масло насаженное на металлический стержень колечко лука; когда лук начинал поджариваться, варку можно было заканчивать. Совершенно очевидно, что с течением лет прежний грубый способ измерения температуры потерял свой смысл и превратился в таинственный магический прием.

Похожую историю рассказал и старик Кометто. Не без грусти вспомнил он о лучших своих годах, об эпохе копалов; смешивая олифу с этими легендарными смолами, получали невероятно стойкие и яркие краски. Память о них сохранилась только в выражении «копаловые ботинки», напоминающем о краске для кожи — когда-то широко распространенной, но уже полвека как вышедшей из употребления; да и само это выражение уже почти исчезло из языка. Копаловые смолы привозились англичанами из далеких диких стран, и назывались они по местам

их добычи: копал мадагаскар, копал сьерра-леоне, копал каури (эти месторождения, заметим попутно, были полностью выработаны к тысяча девятьсот шестьдесят седьмому году), знаменитый благородный копал конго... Копалы представляют собой ископаемые смолы растительного происхождения с довольно высокой температурой плавления; в том виде, в каком их добывали и поставляли на рынок, в маслах они не растворялись. Чтобы сделать копалы растворимыми, их подвергали сильному, почти разрушительному нагреву, в ходе которого уменьшалась (из-за декарбоксилирования) их кислотность и понижалась температура плавления. Вся операция выполнялась кустарно, в двухсот-трехсотлитровых передвижных котлах (они были снабжены колесами), нагреваемых на прямом огне; в ходе процесса через определенные промежутки времени котлы взвешивали, и, когда смола теряла примерно 16 процентов своего веса за счет летучих веществ, водяных паров и углекислого газа, считалось, что растворимость в масле достигнута. Около сорокового года архаичные копалы, дорогие и труднодоступные в военное время, были заменены должным образом модифицированными фенольными и малеиновыми смолами, которые не только дешевле стоили, но и растворялись в маслах без дополнительной обработки. Тем не менее, как сообщил нам Кометто, на одном заводе, называть который он не стал, вплоть до

тысяча девятьсот пятьдесят третьего года фенольную смолу, заменившую копал конго, продолжали обрабатывать точно так же, как этот копал, то есть греть на огне (при этом фенольные испарения распространяли вокруг зловоние) до потери 16 процентов веса, чтобы добиться растворимости в масле, в которой эта смола и без того растворялась.

Тут я заметил собравшимся, что во всех языках существует множество образных выражений и метафор, первоначальный смысл которых давно забыт; например, с вырождением верховой езды в дорогостоящий вид спорта словосочетания «во весь опор» или «закусить удила» стали малопонятными и непривычными на слух; с исчезновением каменных жерновов, при помощи которых веками мололи зерно (и краски), всякий смысл потеряли выражения «плавает как мельничный жернов», «мелет, словно жернов, что попало». Если их еще и употребляют, то не вдумываясь, автоматически. Точно так же, в силу консервативности Природы, наш копчик сохраняет память об исчезнувшем хвосте.

Бруни стал рассказывать случившуюся с ним историю, и пока он говорил, меня охватывало неуловимое сладостное чувство, причины которого я постараюсь объяснить: дело в том, что Бруни с пятьдесят пятого по шестьдесят пятый год работал на том самом заводе на берегу озера, где я сам в сорок шестом—сорок седьмом годах осваивал основы лакокрас-

сочного производства. Так вот, в бытность Бруни начальником цеха синтетических красок ему попала в руки рецептура хроматной антикоррозионной краски, содержащая совершенно абсурдный компонент — хлористый аммоний, старинную алхимическую соль, *Sale Ammoniaco* из храма Амона, которая скорее сама способна вызвать коррозию, нежели защитить от нее железо. Бруни высказал свое недоумение начальству и ветеранам цеха; те с удивлением и даже с некоторым возмущением отвечали, что выпускают по двадцать—тридцать тонн такой краски в месяц на протяжении как минимум десяти лет и эта соль там «всегда была», а он, конечно, хороший мальчик, но молод еще их критиковать, так что незачем нарываться на неприятности, выясняя почему да отчего. Если в рецептуре есть хлористый аммоний, значит, он для чего-то нужен; для чего — никто уже не знал, но и убрать его из краски не решался, поскольку «мало ли что». Бруни по натуре рационалист, и ему это дело не понравилось; но, будучи еще и осторожным человеком, он к советам прислушался. Вот почему на том заводе на берегу озера, если только не случилось ничего нового, в рецептуре хроматной антикоррозионной краски по-прежнему присутствует хлористый аммоний, хотя он там сегодня совершенно не нужен — это я могу утверждать с полным знанием дела, поскольку сам включил его когда-то в состав краски.

Рассказанная Бруни история перенесла меня назад в прошлое, в тот стылый январь тысяча девятьсот сорок шестого года, когда еще мясо и уголь продавались по карточкам, автомобилей ни у кого не было, но Италия дышала небывалой свободой и надеждой.

Я три месяца как вернулся из лагеря, и жилось мне плохо. То, что я видел и пережил, сломало меня изнутри; я чувствовал себя ближе к мертвым, чем к живым, и мне было стыдно, что я человек, потому что это люди создали Освенцим, а Освенцим поглотил миллионы человеческих существ, и многих моих друзей, и женщину, которая по-прежнему оставалась в моем сердце. Мне казалось, что, рассказывая все это, можно как-то освободиться, и я чувствовал себя Старым Мореходом из поэмы Колриджа, который хватает посреди улицы за рукава спешащих на свадьбу гостей и пристаёт к ним со своей историей о проклятии. Я сочинял стихи, лаконичные и полные боли, до умопомрачения рассказывал устно и писал на бумаге о пережитом, пока не родилась наконец книга; за письменным столом я обретал ненадолго покой и чувствовал, что снова делаюсь человеком, таким же, как все: не мучеником, не мерзавцем, не святым, а просто одним из тех, кто заводит семью и смотрит не в прошлое, а в будущее.

Поскольку стихами и рассказами жить нельзя, я мучительно искал работу и наконец нашел ее на

большом, еще не вполне оправившемся после войны заводе на берегу озера, скованного в те зимние месяцы грязным льдом. Никто мною особенно не занимался; коллегам, директору, рабочим было не до меня; они оплакивали сыновей, не вернувшихся из России, печалились о печках без дров, ботинках без подметок, окнах без стекол, о пустых складах и замерзших трубах, об инфляции и дороговизне, о своих местных склоках... Не дав никакого конкретного задания, мне милостиво выделили в лаборатории колченогий стол в шумном, продуваемом всеми сквозняками закутке, где мимо меня постоянно сновали люди с ветошью и бидонами. Будучи, так сказать, химиком без определенных занятий и в состоянии полного отчуждения (хотя тогда этот термин еще не существовал), я беспорядочно заполнял страницу за страницей отравлявшими меня воспоминаниями, а коллеги втайне считали меня безобидным психом. Книга росла у меня в руках как будто сама собой, без всякого плана и системы, запутанная и перенаселенная, как муравейник. Время от времени совесть профессионального инженера побуждала меня обращаться к директору и просить у него работы, но директор был слишком занят делами, чтобы заниматься еще и угрызениями моей совести. Читать и учиться — вот и весь сказ; да и правда, по части красок я со своим дипломом был пока что неучем. Нет работы? Ну и слава

Богу, сиди в библиотеке; а если уж тебе так нейдет, приходи принести пользу, вот, пожалуйста, немецкие статьи, бери и переводы.

Но в один прекрасный день директор вызвал меня и с недобрым блеском в глазах объявил, что для меня есть работенка. Он повел меня в угол заводского двора, где у самого забора в беспорядке было свалено не меньше тысячи прямоугольных блоков ярко-оранжевого цвета. Директор предложил мне их потрогать; на ощупь они оказались студенистыми и сыроватыми, а консистенцией до отвращения напоминали требуху. Я заметил директору, что, если бы не цвет, это можно было бы принять за печень. Директор похвалил меня, поскольку в справочниках по краскам говорится о том же самом; это явление по-английски называется «*livering*», то есть буквально *опеченевание*, а по-итальянски «*impolmonimento*» (от слова «*polmone*», «легкое»). В определенных условиях некоторые краски из жидких становятся твердыми, приобретая консистенцию печени или легкого; тогда такую краску остается только выкинуть. Сваленные у забора прямоугольные блоки прежде были жестянками с краской; когда краску постигло это самое *опеченевание*, жесть срезали, а содержимое отправили на помойку.

Как мне рассказали, в состав этой краски, которая изготовлялась во время и сразу после войны, входили основной хромат и алкидная смола. Долж-

но быть, хромат имел слишком щелочную реакцию или смола была слишком кислая; именно при таких условиях краска могла загустеть до консистенции печени. Короче говоря, теперь эту гору старых грехов предоставили мне, чтобы я все обдумал, провел анализы и исследования и в итоге смог точно сказать, отчего случилась такая беда, что надо сделать, чтобы это больше не повторилось, и нет ли возможности как-то спасти бракованный продукт.

Такая полухимическая, полудетективная задача показалась мне интересной, я и вечером после работы (это был субботний вечер) продолжал думать о ней, пока промерзший и продымленный товарный поезд тех времен вез меня в Турин. И случилось так, что на следующий день судьба сделала мне еще один, особенный, единственный в своем роде, подарок — встречу с женщиной — настоящей, из плоти и крови, молодой и горячей (ее тепло я чувствовал через два наших пальто, идя с ней бок о бок по бульварам, подернутым влажным туманом, по улицам, вдоль еще не разобранных развалин). Она была веселой, спокойной, мудрой, надежной. Уже через несколько часов мы поняли, что принадлежим друг другу, и не на одну эту встречу, а на всю жизнь. Так оно и оказалось на самом деле. Уже через несколько часов я почувствовал себя обновленным, полным новых сил, выздоровевшим от долгой болезни, очистившимся и готовым наконец-то с ра-

достью и энергией снова вступить в жизнь. Мир вокруг меня тоже вдруг выздоровел, померкли в памяти лицо и имя той женщины, что сошла вместе со мной в ад и не вернулась обратно. И писание мое изменилось, перестало быть мучительным путем к выздоровлению, жалобной просьбой о помощи, тоской по дружеским лицам; не омраченное больше одиночеством, оно обрело ясность, как труд химика, который взвешивает, делит, измеряет и выносит суждения на основе веских доказательств, стараясь ответить на все «почему?». Помимо чувства облегчения и освобождения, свойственного тому, кто вернулся и рассказывает о пережитом, мне теперь доставляло удовольствие писать; это было новое, сложное, необыкновенное удовольствие, подобное тому, какое я испытал студентом, постигая торжественный порядок дифференциального исчисления. Какое счастье было искать, находить, придумывать нужное слово — соразмерное, краткое и сильное; вытаскивать из памяти события и описывать их максимально строго, не нагромождая лишних слов. Как это ни парадоксально, но мои воспоминания из тяжелого груза превращались постепенно в ценный материал, и сам я по мере работы над книгой рос словно растение из брошенного в благодатную почву семени.

В понедельник в товарном вагоне, сдавленный со всех сторон заспанными, обмотанными шарфа-

ми людьми, я (чего не случилось со мной ни прежде, ни после) испытывал радость и решимость. Я готов был бросить вызов всем и вся, как до этого Освенциму, а потом одиночеству, и одержать победу; в частности, мне не терпелось весело сразиться с пирамидой оранжевых печенок, ожидавшей меня на берегу озера.

Ведь дух повелевает материей, не так ли? Разве не это вбивали мне в голову в фашистском лицее периода Джованни Джентиле? * Я набросился на работу с тем же жаром, с каким в не столь уж отдаленные времена бросался покорять скальную стенку; противник был все тот же — Не-я, Большая Кривая **, *Hyle*, глупая материя, столь же лениво враждебная, как и людская глупость, и столь же сильная своей косностью. Наше ремесло в том и состоит, чтобы вести этот бесконечный бой и побеждать; превращенная в печенку краска гораздо непокорнее, гораздо сильнее сопротивляется твоей воле, чем разъяренный лев; впрочем, она гораздо менее опасна.

Первая вылазка была сделана в архив. Двумя партнерами, двумя прелюбодеями, от соития которых произошли оранжевые монстры, были хромат и смо-

* Джованни Джентиле (1875—1944) — философ, один из главных идеологов фашизма.

** Символический персонаж драматической поэмы Г. Ибсена «Пер Гюнт».

ла. Смолу производили на месте; я разыскал свидетельства о рождении каждой партии и не обнаружил в них ничего подозрительного; кислотность варьировалась, но, как и положено, никогда не превышала 6. Единственную партию с показателем 6,2 забраковал, как и положено, какой-то контролер с вычурной подписью. На первом этапе смолу можно было исключить из числа подозреваемых.

Хромат поступал от разных поставщиков, и каждая партия при приемке проходила положенную проверку. Согласно инструкции по закупкам ИЗ 480/0, вещество должно содержать не менее 28 процентов окиси хрома. Я просмотрел длиннющий список результатов контроля, начиная с сорок второго года (более скучного занятия и вообразить невозможно), и все показатели не только соответствовали инструкции, но и были совершенно одинаковы — 29,5 процентов, ни больше ни меньше. Все фибры моей химической души восстали против такого безобразия, ведь известно, что естественные колебания при производстве самого хромата в сочетании с неизбежными погрешностями анализа делают чрезвычайно маловероятным такое точное совпадение множества показателей, определенных в разное время для разных партий продукта. Как могло случиться, что никто ничего не заподозрил? В те времена мне еще не было знакомо жуткое анестезирующее действие служебных бумаг, их способность связывать по рукам и

ногам, притуплять, затягивать тиной любой проблеск интуиции или искру новаторства. Впрочем, наукой доказано, что любые выделения токсичны и опасны, так что при определенных обстоятельствах может случиться, что и бумаги, выделяемые предприятиями и поглощаемые ими же самими в чрезмерных количествах, могут вызвать отравление, паралич, а то и гибель всего организма.

Картина случившегося начала вырисовываться: некоего аналитика, не известно, по какой причине, подвели то ли неверная методика анализа, то ли грязные реактивы, то ли просто обычная небрежность, и он старательно заносил в соответствующую графу откровенно подозрительные, хотя формально и безупречные, результаты. Под каждым анализом стояла его подпись, которая потом, как снежный ком, обростала подписями заведующего лабораторией, технического директора и генерального директора. Я представлял его себе, этого несчастного, в обстановке тех трудных лет: уже немолод, поскольку все молодые в армии; может статься, за ним следят фашисты, а может, он сам фашист, и за ним охотятся партизаны; наверняка разочарован в жизни, потому что заниматься анализами в его возрасте уже не пристало, это занятие для молодых. Он укрылся в лаборатории, как в крепости, под защитой своих мизерных познаний, поскольку аналитик непогрешим по определению; за пределами лаборато-

рии над ним смеются и недолюбливают его как раз за его доблести неподкупного стража, мелочного придиры и педанта, напрочь лишённого фантазии и ставящего производству палки в колеса. Судя по отшлифованной годами неразборчивой подписи, он и сам должен был быть отшлифован своим ремеслом до грубого совершенства, как камешек, донесенный бурлящим потоком до устья. Неудивительно, что со временем он перестал ощущать смысл действий, которые приходилось выполнять, и бумаг, которые приходилось писать. Я попробовал навести справки об этом аналитике, но о нем уже никто ничего не знал; на мои вопросы отвечали небрежно или рассеянно. Я вообще начал замечать, что и ко мне, и к моему занятию относятся с насмешливым любопытством, если не сказать с недоброжелательностью: да кто он такой, этот новичок с окладом в 7000 лир в месяц, этот горе-писака, который своим стуком на пищевой машинке мешает спать всей заводской гостинице? Работает без году неделю, а уже копается в грязном белье своих предшественников, выискивает ошибки, чтобы их уличить. У меня даже возникло подозрение, что и само задание мне дали с тайной целью заставить меня на чем-то (или на ком-то) споткнуться, но я уже с головой погрузился в это дело об испорченной краске, влюбился в эту работу почти как в ту девушку, и девушка, кстати, даже немного ревновала.

Без особого труда мне удалось получить не только инструкции по закупкам (ИЗ), но и столь же обязательные инструкции по контролю качества (ИКК); в одном из лабораторных шкафов обнаружилась стопка напечатанных на машинке и многократно переправленных от руки засаленных карточек, на каждой из которых была изложена методика контроля качества определенного вида сырья. Карточка берлинской лазури была в синих пятнах, карточка глицерина липла к пальцам, а карточка рыбьего жира воняла анчоусами. Я вытащил карточку хромата, от долгого употребления приобретающую цвет утренней зари, и внимательно прочитал ее. Все выглядело достаточно солидно и вполне соответствовало моим не столь уж давним университетским познаниям; только один момент показался мне странным. По достижении распада пигмента предписывалось добавить 23 капли определенного реактива, хотя капля — не настолько определенная единица измерения, чтобы с такой точностью указывать число. Больше того, если вдуматься, предписанная доза была безумно завышена; она должна была сводить на нет весь анализ, давая во всех случаях результат, отвечающий требованиям. Я перевернул карточку; на обратной стороне была указана дата последней проверки — 4 января сорок четвертого года, а свидетельство о рождении первой испорченной партии краски было датировано 22 февраля того же года.

Все стало понемногу проясняться. В пыльном архиве я нашел подборку отмененных инструкций по контролю качества и среди них предыдущую карточку хромата. Там было сказано: добавить 2—3, а не 23 капли. Черточка между цифрами была почти не видна, и при перепечатке просто потерялась. Все сходилась: перед последней проверкой карточку перепечатали с ошибкой и эта ошибка повлияла на все последующие анализы, приведя к фиктивным результатам из-за огромной передозировки реактива; таким образом, прошли приемку партии пигмента, которые в нормальной ситуации должны были быть отвергнуты, — именно эти партии со слишком щелочной реакцией и стали причиной опеченевания краски. Горе тому, кто поддастся искушению принять на веру изящную гипотезу, — об этом прекрасно знают читатели детективов. Я буквально взял за горло заспанного начальника склада и потребовал от него образцы всех закупленных партий хромата начиная с января тысяча девятьсот сорок четвертого года, после чего заперся на три дня в лаборатории и проверил их все ошибочным способом и правильным. По мере того как росли столбики результатов, скука рутинной работы сменялась радостным возбуждением, как в детстве, при игре в прятки, когда вдруг заметишь противника, в нелепой позе пристроившегося за кустом. Ошибочный способ неизменно давал одни и те же 29,5 про-

цента; результаты с верными цифрами имели изрядный разброс, и добрая четверть из них не дотягивала до предписанного минимума, что означало необходимость такую партию забраковать. Диагноз подтвердился, патогенез был выяснен; предстояло определиться с терапией.

Лечение было найдено довольно быстро, стоило лишь обратиться к старой доброй неорганической химии, далекому острову картезианской логики, потерянному для нас, запутавшихся в органических и макромолекулярных дебрях, раю. Надо было каким-то способом нейтрализовать в больном организме избыток щелочности, связанный со свободным оксидом свинца. Кислоты представляли опасность по другим причинам, и я подумал о хлористом аммонии, стабильно соединяющемся с оксидом свинца с образованием нерастворимого инертного хлорида и свободного аммиака. Испытание с малыми дозами дало положительный результат; теперь предстояло найти хлористый аммоний (в инвентарной описи он числился как хлористый *демоний*), договориться с участком размола, засунуть в небольшую шаровую мельницу пару отвратительных на вид и на ощупь печенок, добавить отмеренное количество прописанного лекарства и запустить мельницу под скептическими взглядами окружающих. Мельница, обычно такая шумная, закрутилась как бы нехотя в не предвещающей ничего хорошего тишине, увязая в студе-

нистой массе, облепившей шарики. Мне ничего не оставалось, как вернуться в Турин и, вздохнув рассказывая терпеливой девушке о своих надеждах и о том, что происходит в это время на берегу озера, волнуясь, дожидаться приговора, который мне будет вынесен в понедельник.

К понедельнику мельница вновь обрела привычный голос; она грохотала даже весело, без перерывов и сбоев, которые у шаровых мельниц служат признаком слабого здоровья или скверного ухода. Я велел ее выключить и осторожно ослабить болты, державшие люк; как и следовало ожидать, оттуда со свистом вырвались клубы аммиака. Тогда я распорядился открыть люк полностью и — слава Тебе Господи! — краска была текучая, ровная, совершенно нормальная; она воскресла из пепла, как птица Феникс. Я написал отчет на хорошем производственном жаргоне, и дирекция повысила мне оклад. Кроме того, в порядке поощрения мне дали талон на две покрышки для велосипеда.

На складе были еще партии хромата повышенной щелочности, и их надо было использовать, поскольку приемку они уже прошли и вернуть их поставщику было невозможно. Поэтому хлористый аммоний был официально включен в состав краски как компонент, предупреждающий опеченевание. Потом я оттуда уволился, прошли десятилетия, послевоенное время кануло в прошлое, опасные хро-

маты с повышенной щелочностью исчезли из продажи, и мой отчет постигла судьба всего сущего; но рецептуры священны, как молитвы, законодательные акты и мертвые языки, и ничего в них нельзя изменить ни на йоту. Вот почему мой хлористый демоний, ровесник счастливой любви и освободившей меня книги, теперь уже совершенно бесполезный, а возможно, даже и немного вредный, на берегах того озера по-прежнему с религиозным тщанием размалывается в шаровой мельнице при изготовлении антикоррозионной краски, и никто уже не знает почему.

СЕРА

Ланца поставил велосипед в ячейку, прокомпости-ровал карточку, прошел к котлу, запустил мешалку и зажег горелку. Струя распыленного мазута, воспламенившись с громким хлопком, опасно полыхнула (Ланца, знавший особенности этой топки, вовремя отпрянул назад), после чего пламя стало ровным и гулким, как далекий гром; его шум перекрывал слабое жужжание моторов и трансмиссий. Не выпавшись и поеживаясь от холода, Ланца сел на корточки перед горячей топкой, а за его спиной на стене плясали огромные тени огненных вспышек, напоминающие нечеткие кадры зарождающегося кинематографа.

Через полчаса, как и положено, термометр ожил; блестящая стальная стрелка медленно, точно улитка, поползла по желтоватому циферблату и остановилась на девяноста пяти градусах. Все точно, ведь термометр всегда показывал на пять градусов меньше. Ланца был доволен, он чувствовал себя единым целым с котлом, термометром, а значит, с миром и са-

мим собой, потому что все шло, как должно было идти, и потому что на заводе он один знал, что этот термометр ошибается на пять градусов. Другой бы на его месте увеличил пламя или, по крайней мере, попытался бы поднять температуру до ста градусов, как этого требует инструкция.

Стрелка термометра долго держалась на отметке 95, потом опять поползла вверх. Ланца стоял близко к огню, и от тепла снова подступил сон и начал захватывать один из участков его сознания (не тот, которому положено следить за термометром, тот всегда обязан был бодрствовать).

Когда имеешь дело с серой, надо постоянно быть начеку. Но пока все идет как по маслу. Ланца наслаждался приятным покоем; в голове беспорядочно сменялись мысли и образы, что обычно предшествует засыпанию, но Ланца пытался отогнать сон. Стало жарко, Ланца увидел свою деревню, поле, жену, детей, остерию. Уютное тепло остерии, тяжелый теплый дух хлева. Когда шел дождь, вода просачивалась в хлев сверху, скорее всего через сеновал или трещину в стене, потому что черепицы на крыше (он на Пасху сам проверял) все были целые. Место еще для одной коровы можно было бы найти, да только, чтобы купить ее (и тут на него обрушился поток чисел, он попытался что-то сосчитать, но в голове все окончательно запуталось)... Каждая минута работы добавляла десять лир в его карман, поэтому ему начинало

казаться, что огонь в топке гудит для него и мешалка крутится для него, точно машина, которая штампует монеты.

Вставай, Ланца, уже сто восемьдесят градусов! Нужно открыть люк и бросить в него «В 41». Это просто нелепо продолжать пользоваться кодовым названием, если все на заводе давно знают, что «В 41» — это сера. В войну, когда ничего не было, некоторые таскали ее с завода и продавали на черном рынке крестьянам, которые опыляли ею виноградники. Но начальство есть начальство, ему виднее, что и как называть.

Он потушил огонь, уменьшил обороты мешалки, отвинтил болты люка, надел противогаз, став похожим то ли на крота, то ли на кабана. «В 41», взвешенный и разделенный на три порции, лежал в картонных коробках. Ланца осторожно высыпал его в люк и, поскольку противогаз немного пропускал воздух, сразу же почувствовал поднимающийся снизу тухлый тоскливый запах. Видно, священник правду говорил, что в аду пахнет серой. Собакам запах серы не нравится, это все знают. Он снова привинтил болтами люк, увеличил обороты мешалки, зажег топку.

В три часа ночи термометр показывал двести градусов. Пора отсосать воздух. Он поднял кверху черный рычаг, и резкий, высокий звук насоса перекрыл гудение топки. Тонкая, как игла, стрела вакуумметра, стоявшая вертикально на нуле, начала медленно

клониться влево. Двадцать градусов, сорок, очень хорошо, теперь можно закурить сигарету и на часок расслабиться.

Одному суждено стать миллионером, другому умереть нелепой смертью, а ему, Ланце (словно компенсируя невозможность перекинуться с кем-нибудь парой слов, он громко зевнул), на роду написано путать день с ночью. Во время войны, если бы об этом узнали, ему быстро бы нашли применение: отправили бы на крышу сбивать в небе самолеты.

Но вот слух, нервы напряглись, Ланца вскочил на ноги. Насос вдруг заработал медленнее, с большим напряжением, будто из последних сил. Точно в подтверждение этого игла вакуумметра стала подниматься к нулю, а затем, перевалив через верхнюю точку, двинулась вправо; это означало, что давление в котле нарастает.

«Затуши огонь и беги». «Загаси топку и беги отсюда». Но он не убежал. Схватив разводной ключ, стал стучать по трубе, надеясь определить по звуку, в каком месте она забилась; другого разумного объяснения он просто не находил. Ланца простукивал трубу снова и снова — никакого результата: насос продолжал работать вхолостую, стрелка колебалась в районе одной трети атмосферы.

У Ланцы волосы встали дыбом, как шерсть у разъярившегося кота; кровь бешено застучала в висках. Потому что он был разъярен, озлоблен, в нем кипела

безумная ненависть к котлу, к этой упрямой, ревушей, огнедышащей скотине, выпустившей во все стороны длинные раскаленные иголки, как какой-то гигантский еж, к которому не знаешь, с какой стороны подойти, за что ухватить. Хотелось просто бить по нему, бить, пока хватит сил. Одна, почти маниакальная, мысль преследовала его: он должен открыть люк, чтобы снизить давление. Он начал откручивать болты, и вот наконец из щели брызнула с шипением желтоватая дымящаяся слизь, значит, надо думать, и в котле полно пены. Ланца резко надавил на люк, с трудом удерживаясь, чтобы не броситься к телефону и не начать звонить всем подряд — начальству, пожарным, Святому Духу, прося помощи или хотя бы совета. Котел не был рассчитан на высокое давление, поэтому в любую минуту мог взорваться. Так, по крайней мере, казалось, но, возможно, если бы все это происходило днем и Ланца был бы не один, он так не думал бы. Страх перешел в гнев, потом гнев утих, в голове у Ланцы прояснилось, и происходящее показалось ему более понятным. Тогда он открыл воздушный клапан, закрыл вакуумный вентиль, остановил насос. С облегчением и гордым собой, поскольку все правильно рассчитал: стрелка вернулась к нулю, как заблудившаяся овечка к хлеву, снова стала послушной.

Он почувствовал легкость во всем теле, оглянулся по сторонам, ища, с кем бы поделиться радостью,

что все закончилось благополучно. Увидел на полу свою сигарету, превратившуюся в цилиндрик пепла: она сама себя выкурила. Было пять двадцать; начал брезжить рассвет, термометр показывал 210 градусов. Он взял из котла пробу, когда она остыла, ввел реактив. Содержимое пробирки оставалось некоторое время прозрачным, потом стало мутно-молочным. Ланца затушил пламя, открыл вакуумный вентиль: бурление сменилось долгим раздраженным свистом, который, мало-помалу стихая, переходил в шипенье, невнятное бормотанье, пока окончательно не стих. Ланца перекрыл трубу, запустил компрессор, и окутанная белым дымом тягучая струя смолы с привычным едким запахом начала слабеть и иссякла совсем, а поверхность сливного бассейна вскоре превратилась в сверкающее черное зеркало.

Ланца направился к воротам. Навстречу ему шел Кармине. Передавая ему смену, Ланца сказал, что дежурство прошло спокойно, и стал накачивать велосипедные шины.

ТИТАН

Посвящается Феличе Фантино

В кухне был человек, очень высокий и очень странно одетый, Мария никогда раньше не видела, чтобы так одевались. На голове у человека был кораблик, сделанный из газеты, в зубах трубка, и он красил шкаф в белый цвет.

Нельзя себе было даже представить, как вся эта белизна помещалась в такой маленькой банке, и Мария умирала от желания подойти поближе и заглянуть внутрь. Человек время от времени вынимал трубку, клал ее на шкаф, который красил, и начинал насвистывать. Потом переставал насвистывать и начинал петь. Потом отступал на два шага и зажмуривал один глаз. Время от времен сплевывал в помойное ведро и вытирал рот тыльной стороной ладони. Одним словом, делал столько всего странного, никогда не виданного, что было очень интересно стоять и смотреть. Когда шкаф уже был весь белый, человек собрал лежащие на полу газеты, взял банку с краской, перенес все это к буфету и начал красить его. Шкаф был такой чистый, белый и блестящий, что его непременно хо-

телось потрогать. Мария стала приближаться к шкафу, но человек, заметив это, сказал:

— Не трогай. Трогать нельзя.

Мария застыла от удивления, а потом спросила:

— Почему?

— Потому что нельзя, — ответил человек.

Мария немного подумала и снова задала вопрос:

— Отчего он такой белый?

Теперь и человек немного задумался, словно вопрос показался ему трудным, но потом сказал:

— От белил.

Мария почувствовала, что ее начинает слегка трясти от страха, как когда в сказке появляется людоед. Она посмотрела внимательно на человека, но пилы у него в руке не было. Где он ее прячет? Сейчас выгашит из-за спины и ей тоже что-нибудь отпилит.

— Что отпилит? — спросила она.

— Не отпилит, а от белил, от титановых белил, — объяснил человек.

И совсем он не страшный, даже наоборот, дружелюбный, подумала Мария.

— Как тебя зовут? — решила она спросить.

— Феличе, — ответил он, не вынимая трубки, так что она несколько раз так высоко подпрыгнула, что чуть не выпала у него изо рта.

Мария немного помолчала, поглядывая то на шкаф, то на человека. Она не была удовлетворена ответом, ей хотелось уточнить, почему его зовут Феличе, но она не

осмеливалась спросить, потому что вспомнила, что дети никогда не должны спрашивать «Почему?». Ее подружку Аличе зовут Аличе, потому что она маленькая девочка, но странно, что детским именем зовут взрослого. Впрочем, немного подумав, она решила, что ничего нет особенного в том, что взрослого зовут Феличе, пожалуй, иначе этого человека и назвать-то было нельзя.

Свежевыкрашенный шкаф был такой белый, что по сравнению с ним остальная мебель в кухне казалась грязно-желтой. Мария решила, что не будет ничего плохого, если она подойдет к шкафу, чтобы как следует его рассмотреть. Она будет только смотреть, трогать не будет. Но когда Мария начала на цыпочках приближаться к шкафу, человек обернулся, быстро подскочил к ней, достал из кармана кусок мела, очертил на полу вокруг нее круг и сказал:

— Из круга выходить нельзя.

Потом он зажег спичку, поднес к трубке, попытался, странно гримасничая, и продолжил красить буфет.

Мария села на корточки и внимательно осмотрела круг. Он был сплошной, выхода из него действительно не было. Она попробовала стереть его пальцем, и в меловой линии образовался разрыв, но Мария была уверена, что это ничего не значит: из круга все равно не выйти, ведь он волшебный.

Сидя тихо в центре круга, она время от времени тянулась всем телом вперед, почти теряя равновесие, и, если еще могла достать носками туфель до бе-

Титан

лой окружности, дотронуться пальцами до шкафа или стены у нее не получалось: не хватало длины руки. На ее глазах буфет, стол и стулья становились белыми и красивыми.

Прошло очень много времени, и вот человек отложил наконец кисть, отставил банку и снял с головы бумажный кораблик. Оказалось, у него на голове такие же волосы, как и у всех остальных мужчин. Потом он вышел на балкон, и Мария услышала его шаги и шум передвигаемой мебели в соседней комнате.

— Синьор Феличе! — позвала она сначала шепотом, потом немного громче, но все же не слишком громко, потому что в глубине души боялась, что он ее услышит.

Наконец человек вернулся в кухню.

— Теперь мне можно уйти? — спросила Мария.

Человек посмотрел вниз на сидящую в меловом кругу Марию, громко рассмеялся, потом долго о чем-то говорил. О чем говорил, Мария не поняла, но он не сердился, в этом она была уверена.

— Да-да, конечно, теперь ты можешь уйти, — сказал он, но Мария растерянно посмотрела на него и не стронулась с места.

Тогда человек взял тряпку и аккуратно стер круг, чтобы расколдовать Марию. Когда круг исчез, девочка обрадовалась, встала и вприпрыжку убежала из кухни.

МЫШЬЯК

Для клиента вид у него был нетипичный. В нашу скромную лабораторию, где мы смело брались за анализ любого продукта, приходил самый разный народ, мужчины и женщины, старики и молодежь, но их объединяло одно: все они были причастны к обширной торговой сети с ее двойными плутовскими стандартами. Того, чья профессия покупать и продавать, можно сразу узнать по цепкому взгляду и напряженному выражению лица; такой человек боится обмана и постоянно ждет, что его надуют; он всегда настороже, как кот в темное время суток. Занятие коммерцией способно загубить бессмертную душу, возможно, поэтому придворный, шлифовальщик линз, даже инженер или стратег способен стать философом, а оптовик и лавочник — нет; мне, во всяком случае, такие не встречались.

Принял его я, поскольку Эмилио на месте не было, и мысленно причислил к философам-крестьянам: крепкий старик с красным обветренным лицом, грубыми, изуродованными работой и артритом руками,

большими набрякшими мешками под светлыми глазами, которые смотрели на удивление живо и молодо. Он был в жилете, из кармашка которого свешивалась цепочка часов, и говорил на пьемонтском диалекте. Последнее обстоятельство меня смутило, потому что невежливо отвечать по-итальянски тому, кто говорит с тобой на диалекте: ты сразу же оказываешься по другую сторону барьера, попадаешь в разряд аристократов, благородных господ или, по выражению моего знаменитого однофамильца, *луиджинцев**. К тому же мой пьемонтский был настолько правильный грамматически и фонетически, настолько невыразительный и гладкий, заученный и безликий, что казался ненастоящим. В нем не было и следа атавистической непосредственности, он появился на свет за письменным столом при свете керосиновой лампы в результате прилежных занятий лексикой и грамматикой.

Посетитель между тем сообщил мне на великолепном пьемонтском с характерными для района Асти особенностями, придававшими ему еще большую живость, что привез *на химию сахар*. Он хотел

* Речь идет о Карло Леви (1902—1975), писателе, художнике, антифашисте и общественном деятеле, авторе знаменитой книги «Христос остановился в Эболи», назвавшем в своей книге «Часы» этим словом мещан с их ограниченным кругозором.

узнать, сахар ли это вообще, и если да, то нет ли в нем какой-нибудь гадости. Что он имеет в виду? Пусть поделится своими соображениями, это облегчит мне выполнение задачи. Нет, он не хочет оказывать на меня давление, поэтому просит провести анализы как можно тщательнее, а своими догадками поделится со мной после того, как я сделаю заключение. Он вручил мне пакет, в котором было не меньше полкило сахара, сказал, что вернется завтра, попрощался и, проигнорировав лифт, несмотря на то что ему предстояло преодолеть пешком четыре лестничных марша, начал спускаться не спеша, как человек, который ни о чем не беспокоится и никуда не спешит.

Поскольку клиентура у нас была небольшая, то заказов мы выполняли мало и соответственно мало зарабатывали. Покупать современное оборудование и препараты, ускоряющие получение результатов, нам было не по карману, поэтому работали мы медленнее, чем положено, и на каждый заказ времени тратили больше. У нас и вывески не было, так что круг клиентов постепенно сужался, а не расширялся. Мы с Эмилио, прекрасно зная, что для анализа достаточно нескольких граммов вещества, с удовольствием принимали вино и молоко литрами, макароны и мыло килограммами, равиоли упаковками.

Учитывая анамнез (иными словами, подозрение моего посетителя), было бы неразумно использовать принесенный им продукт в пищу без проверки и даже пробовать его на вкус. Я размешал небольшое количество сахара в дистиллированной воде: раствор получился мутным, значит, действительно что-то тут было не так. Тогда я отмерил ровно один грамм сахара, положил его в платиновый тигель (мы берегли его, как зеницу ока) и стал нагревать на открытом огне, пока он не обуглился. Сначала запахло знакомым с детства домашним запахом жженого сахара, но через несколько секунд пламя приобрело свинцовый оттенок, и по лаборатории распространился совсем другой запах — металлический, чесночный, неестественный, я бы даже сказал, противоестественный (беда, если химик лишен тонкого нюха!). Мне осталось профильтровать раствор, перелить его в аппарат Киппа и пропустить через него сероводород. Ошибки быть не могло: вот он, желтый сульфидный осадок, мышьяк, элемент с мужским именем, короче говоря, яд Митридата и мадам Бовари.

Остаток рабочего дня ушел на перегонку пировиноградной кислоты и на размышления об отравленном сахаре. Не знаю, как готовят пировиноградную кислоту теперь, но в те времена мы смешивали серную кислоту с содой в эмалированной кастрюле, получали бисульфат, выливали его прямо на пол, чтобы

он затвердел, а затем размалывали в кофемолке. Потом нагревали до двухсот пятидесяти градусов Цельсия смесь этого самого бисульфата с виннокаменной кислотой и после выпаривания и перегонки получали искомый продукт. Поначалу мы пользовались стеклянной посудой, но она билась и лопалась в таких количествах, что мы купили у старьевщиков десять жестяных канистр из вторсырья, которые, пока не был изобретен полиэтилен, использовались повсеместно в качестве емкостей для бензина. Поскольку заказчик по-прежнему оставался доволен качеством получаемого от нас продукта и намекал на увеличение поставок, мы решили не останавливаться на достигнутом и заказали местному кузнецу незатейливый цилиндрический аппарат, поместили его в выложенное кирпичом ложе, на дне и стенках которого укрепили четыре спирали по тысяче ватт каждая и подсоединили их к электрической сети незаконно, мимо счетчика.

Коллега, читающий эти строки, пусть тебя не удивляет эта допотопная химия! В те годы не только мы, не только химики жили так: шесть лет разрушительной войны отбросили мир назад, в результате чего многие естественные для цивилизованного человека потребности были забыты, в первую очередь — потребность сохранять человеческое достоинство.

Пока перегоняемая кислота капала с конца змеевидного охладителя в коллектор тяжелыми золотистыми каплями, сверкавшими как драгоценные камни (на каждых десяти каплях мы зарабатывали одну лиру), я думал об отравленном мышьяком сахаре и старике, которому никак не подходила роль отравителя, впрочем, как и жертвы отравления.

Он вернулся на следующий день и настоял на том, чтобы прежде расплатиться, а потом уже выслушивать мое заключение. Когда я сообщил ему результаты анализа, на его лице появилась улыбка, скорее похожая на гримасу.

— Вы меня обрадовали, я всегда говорил, что этим кончится, — сказал он.

Ему явно хотелось рассказать свою историю, но он не решался начать без встречного знака, без просьбы с моей стороны. Я не заставил себя ждать, и вот эта история, слегка пострадавшая от перевода с пьемонтского (в основном разговорного) диалекта на окаменевший итальянский, более всего подходящий для эпитафий на могильных плитах:

— Я по профессии сапожник. Если этим ремеслом заниматься смолоду, оно вовсе не так уж плохо: работа у нас сидячая, не очень утомительная, можно людей повидать, перекинуться с ними парой слов. Конечно, сидя целыми днями с чужими башмаками в руках, больших денег не заработаешь, но с этим в конце концов смиряешься, привыкаешь, как приви-

каешь к запаху старой кожи. Мастерская у меня на углу улицы Джоберти и улицы Пастренго, я уже тридцать лет работаю, меня тут все знают. Чеботарь из Сан-Секондо — это я и есть. Я все больные ноги в округе изучил, мне для работы только молоток нужен и дратва. И вот вдруг является молодой парень — высокий, красивый, с гонором, к тому же чужак. Открывает свою мастерскую в двух шагах от моей и оборудует ее всякими механическими приспособлениями: одни растягивают обувь вширь, другие в длину, третьи строчат, четвертые подметки подшивают. Сам я там не был и машин тех не видел, мне про них другие рассказывали. Этот парень написал на карточках свой адрес, телефон и рассовал в почтовые ящики по всей округе. А телефон-то зачем, он что, повитуха?

Вы, наверно, думаете, что дела у него сразу же пошли хорошо. Поначалу, в первые месяцы, — да; к нему стали ходить, кто из любопытства, кто чтобы подхлестнуть нас к конкуренции, впрочем, надо признать, цены у него в принципе были невысокие. Но потом, когда он почувствовал, что работает себе в убыток, он цены поднял. Уверяю вас, я ему зла не желал. Сколько я повидал таких на своем веку, и не только среди сапожников, которые пускались с места в карьер и ломали себе шею. Он же, как мне говорили, желал мне зла, я это точно знаю, потому что мне все про него рассказывали, и знаете кто? Старушки

с больными ногами, у которых уже нет желания далеко отходить от дома, да и обувь у них в единственном экземпляре. Вот они приходят ко мне, сидят, ждут, пока я чиню им туфли, и все мне рассказывают, держат, так сказать, в курсе.

Он меня ненавидел и наговаривал на меня невесть что. Будто подметки я делаю из картона. Будто напиваюсь каждый вечер до потери сознания. Будто жену свою утробил ради страховки. Будто одному из моих клиентов гвоздь, вылезший из подметки, проткнул ногу и он умер от столбняка. Вы же понимаете, что после всего этого я нисколько не удивился, обнаружив однажды утром в куче принесенной для починки обуви этот пакет. Я сразу заподозрил неладное, но решил проверить: дал немного сахара коту и того через два часа вырвало в углу. Тогда я подмешал щепотку в сахар из сахарницы, и мы с дочкой вчера положили его в кофе. Через два часа нас тоже вырвало, как и кота. Теперь у меня есть ваше заключение, так что я полностью удовлетворен.

— Вы заявите об этом? Дадите делу ход?

— Нет, ни в коем случае. Я уже сказал вам, он просто жалкий человек, я не собираюсь его разорять. Мир велик, в нем всем места хватит, в том числе и сапожникам, только он, в отличие от меня, не знает об этом.

— И как же вы поступите?

Примо Леви

— Завтра с одной из моих старушек я отправлю ему этот пакет обратно и записку со своей фамилией приложу. Нет, лучше я сам ему отнесу пакет, чтобы увидеть, какое у него будет лицо, а заодно объясню ему кое-что. — Он оглядел лабораторию, как будто это не лаборатория, а музей, и добавил: — Ваше ремесло тоже хорошее, оно требует внимания и терпения. Тому, у кого нет ни того, ни другого, лучше подыскать себе другое занятие.

Он попрощался, взял пакет и с присущим ему спокойным достоинством пошел, минуя лифт, к лестнице.

АЗОТ

И вот наконец появился клиент, о котором мы мечтали, — клиент, пришедший за консультацией. Консультирование — идеальная работа; ты зарабатываешь себе престиж и деньги, не надрываясь при этом, не пачкая рук и не рискуя получить ожог или отравление. Надо только снять рабочий халат, повязать галстук, в глубокомысленном молчании выслушать вопрос, и можешь чувствовать себя Дельфийским оракулом. Потом следует тщательно взвесить ответ и сформулировать его на языке витиеватом и туманном, чтобы клиент тоже считал тебя оракулом, достойным его доверия и тарифных ставок, установленных Орденом Химиков.

Клиент, о котором мы мечтали, оказался жирным коротышкой лет сорока с усиками под Кларка Гейбла и черными волосами, которые пучками лезли у него из ноздрей и ушей, покрывали тыльные стороны его ладоней и даже фаланги пальцев до самых ногтей. Он был сильно надушен, напомажен и вид имел какой-то вульгарный: то ли сутенер, то ли плохой актер

в роли сутенера, то ли бандит с большой дороги. Он сообщил мне, что является владельцем косметической фабрики и что у него как-то не ладится с одним сортом губной помады. Ну, хорошо, говорю, принесите образец. Да нет, говорит он, тут такая проблема, короче говоря, лучше бы на месте посмотреть, так что, если кто-то из вас двоих приедет на фабрику, проще будет устранить неполадки. Завтра в десять утра? Хорошо, завтра в десять утра.

Было бы, конечно, шикарно прибыть туда на автомобиле. Но с другой стороны, будь ты химиком с собственным автомобилем, а не бедным бывшим лагерником, пишущим на досуге книги, да еще только что женившимся, тебе вообще не пришлось бы тут заниматься выделением пировиноградной кислоты и бегать за всякими подозрительными производителями губной помады. Так что я облачился в лучший из моих (двух) костюмов и даже подумал, что велосипед правильнее будет оставить где-нибудь поблизости во дворе, а самому сделать вид, что приехал на такси. Впрочем, когда я оказался на фабрике, мне стало ясно, что переживать насчет престижа не стоит: фабрика представляла собой грязный захламленный сарай, в котором гуляли сквозняки и толклись около дюжины хамоватых ленивых девиц, неопрятных и густо покрашенных. Хозяин фабрики с важным видом давал пояснения, явно гордясь собой; помаду он называл на французский манер

«руж», анилин именовал «анелином», а бензойный альдегид — «аделаидом». Само производство было организовано незатейливо: одна девица в обычной эмалированной кастрюле расплавляла смесь восков и жиров, добавляла чуть-чуть отдушки, чуть-чуть красителя, а потом разливала все это по небольшим формам. Другая девица охлаждала формы в проточной воде и из каждой формы извлекала по двадцать красных палочек помады; еще несколько работниц занимались сборкой пеналов и упаковкой. Хозяин грубо обхватил сзади голову одной из девиц и повернул ее ко мне, ртом прямо к моим глазам, предлагая осмотреть контур губ; дело в том, что по прошествии нескольких часов, особенно в тепле, помада начинает расплзаться, проникая в крохотные морщинки, которые есть даже у молодых женщин, и образуется некрасивая паутинка из тонких красных линий, смазывающая контур и портящая весь эффект.

Я осмотрел (не без смущения, надо сказать); девица при этом, не обращая внимания на осмотр, продолжала жевать американскую жвачку. Тонкие красные линии действительно присутствовали, но только с правой стороны рта. Все правильно, объяснил мне хозяин: с левой стороны губы этой девушки и у всех остальных покрашены отличной французской помадой, которую он и пытается безуспешно воспроизвести. Качество помады можно оценить

только так, на практике; каждое утро все работницы должны красить губы, правую половину рта — помадой своего производства, а левую — той французской, а он их всех целует по восемь раз в день, чтобы определить стойкость продукции к поцелуям.

Я попросил у этого типа рецептуру его помады и образцы продукции — его собственной и французской. Уже читая рецептуру, я догадался, в чем дело, но все же решил, что солиднее будет научно обосновать свое заключение, поэтому попросил два дня «на анализы». Вновь усевшись на велосипед и крутя педали, я размышлял о том, что, если все пройдет хорошо, я, наверное, смогу завести себе мопед и педали крутить больше не придется.

Вернувшись в лабораторию, я взял листок фильтровальной бумаги, двумя разными сортами помады сделал на нем две красных точки и положил листок в печку, установив температуру 80°C. Через четверть часа стало видно, что точка, сделанная «левой» помадой, так и осталась точкой, хотя вокруг нее и появился маслянистый ореол; зато точка «правой» помады побледнела и расплылась, так что получилось розоватое пятно размером с монету. В рецептуре моего клиента значился растворимый краситель; очевидно, когда тепло женской кожи (или моей печки) расплавляло жир, краситель начал диффундировать вслед за жиром. В той, другой, помаде должен был присутствовать какой-то крас-

ный пигмент в мелкодисперсном состоянии, но нерастворимый, а значит, немигрирующий. В этом я с легкостью убедился, разведя образец бензолом и пропустив его через центрифугу, — пигмент осел на дно пробирки. Благодаря опыту, приобретенному на фабрике на берегу озера, мне даже удалось его определить: это был дорогой пигмент, который не так-то просто диспергировать; да все равно у моего то ли сутенера, то ли бандита с большой дороги не было нужной аппаратуры для приготовления дисперсии. Впрочем, это уже его головная боль, и пусть он с этим разбирается сам вместе со своим гаремом подопытных крольчих и со своими отвратительными контрольными поцелуями. Лично я свой профессиональный долг исполнил: составил заключение, приложив к нему счет с печатью и разукрашенный кусок фильтровальной бумаги, явился снова на фабрику, сдал работу, получил гонорар и собрался распрощаться.

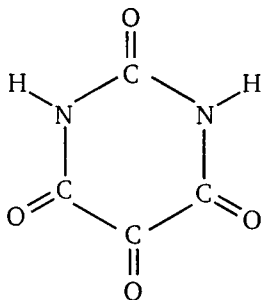
Однако хозяин фабрики удержал меня; оставшись довольным моей работой, он предложил мне новое дело: не мог бы я достать ему несколько килограммов аллоксана? Он бы мне хорошо заплатил, только при условии, что я не буду поставлять его никому другому. Он в каком-то журнале вычитал, что аллоксан, попадая на слизистую, делает ее красной, и цвет получается очень стойкий, поскольку это не

поверхностное нанесение, а настоящая прокраска, как при окрашивании шерсти или хлопка.

Я все это выслушал, не моргнув глазом, и сказал, что должен подумать. Аллоксан — соединение не самое распространенное и не самое известное, вряд ли в моем старом учебнике по органической химии ему уделено больше пяти строчек; сам я в тот момент смог лишь смутно припомнить, что это какое-то производное мочевины, что-то связанное с мочево́й кислотой.

При первой возможности я отправился в библиотеку. Я имею в виду солидную библиотеку Химического института Туринского университета, которая, подобно Мекке, была недоступна в те времена для неверных и с трудом доступна даже для правоверных, таких, как я. Похоже, тамошняя дирекция исповедовала мудрый принцип: прививать отвращение к наукам и искусствам; и только тот, кем движет абсолютная необходимость или все превозмогающая страсть, согласится по доброй воле пройти через назначенные испытания и заслужить своей самоотверженностью право получить нужные ему книги. Часы работы были короткими и неудобными, освещение скудным, картотека недостоверной, отопление зимой отсутствовало, вместо стульев громыхали неуклюжие металлические табуретки, и, в довершение всего, библиотекарем был какой-то болван — некомпетентный, наглый и настолько безобразный,

словно его специально поставили у входа, чтобы он своим видом и рычанием нагонял страх на желающих войти. Я, однако же, вошел, преодолев все преграды, и первым делом решил освежить в памяти сведения о составе и структуре аллоксана. Вот его портрет:



Здесь О — кислород, С — углерод, Н — водород, а N — азот. Грациозная структура, правда? Вызывает ощущение чего-то солидного, стабильного, крепко сбитого. И на самом деле в химии, как и в архитектуре, постройки «красивые», то есть симметричные и простые, оказываются и самыми прочными; это так же верно для молекул, как и для купола собора или арки моста. А может, и не стоит заходить так издалека и верно другое объяснение, не столь метафизическое: ведь «красивый» — это все равно что «желанный», и, когда человек строит, он просто желает построить с минимальными затратами и в расчете на максимальную долговечность, а эстетичес-

кое наслаждение от вида своих творений приходит потом. Конечно, это не всегда соблюдается; бывали эпохи, когда красоту отождествляли с украшательством, нагромождением деталей, вычурностью. Впрочем, возможно, эти эпохи представляли собой отклонение, а настоящая красота, в которой осознает себя каждый век, есть красота тесаного камня, силуэт корабля, лезвие секиры, крыло самолета...

Будем считать, что состав аллоксана мы вспомнили и по достоинству оценили строение его молекулы; ну а теперь, заболтавшийся химик, любитель отклониться от темы, пора тебе вернуться к своему главному делу — шашням с материей ради обретения средств к существованию, уже не только для себя одного. Я окинул уважительным взором шкафы с «Zentralblatt» и принялся просматривать тома год за годом. Перед «Chemisches Zentralblatt» я почтительно склоняю голову: с тех пор как существует химия, этот журнал журналов печатает в предельно краткой форме резюме всех публикаций из всех журналов мира по химическим вопросам. Первые годовые выпуски представляли собой тома по 300—400 страниц; зато сейчас их четырнадцать в году, по 1300 страниц в каждом. Журнал снабжен впечатляющими указателями — именованным, тематическим, указателем формул; в нем можно отыскать почтенные реликвии, вроде легендарных записок нашего пат-

риарха Велера, где он рассказывает о первом органическом синтезе, или сообщение о том, как Сент-Клер Девиль впервые выделил металлический алюминий.

От «Zentralblatt» я рикошетом отлетел к «Beilstein», еще одному монументальному, постоянно обновляемому энциклопедическому изданию, куда, как в книгу записей актов гражданского состояния, заносят появление на свет каждого нового соединения и методы его получения. Аллоксан значился там уже лет семьдесят, но скорее как лабораторный курьез; описанные методы его получения представляли интерес чисто академический и предполагали использование дорогостоящего сырья и реактивов, которые в первые послевоенные годы нечего и надеяться было найти на рынке. Единственным доступным методом был самый старый и вроде бы не особенно сложный, состоявший в расщеплении мочево́й кислоты путем окисления. Да-да, той самой мочево́й кислоты, спутницы подагры, нево́здержанности и мочекаменной болезни. Сырье, конечно, нетипичное, но зато, может быть, хоть его будет достать не так трудно, как все остальное.

И действительно, при последующих изысканиях в сверкающих чистотой и пахнущих камфарой и воском книжных шкафах с многовековыми трудами поколений химиков я узнал, что мочево́я кислота, присутствующая в очень малых количествах в выде-

лениях человека и млекопитающих, составляет 50 процентов в экскрементах птиц и 90 процентов в экскрементах рептилий. Вот и славно. Я позвонил своему клиенту и сообщил, что работу сделать можно; мне понадобится несколько дней, и еще до конца месяца я смогу принести ему первый образец аллоксана, а заодно прикинуть ориентировочно цену и месячный выход продукта. Мысль о том, что аллоксан, предназначенный для украшения дамских губ, будет получаться из экскрементов кур и питомов, меня ничуть не смущала. Ремесло химика (подкрепленное в моем случае еще и освенцимским опытом) учит преодолевать отвращение к определенным вещам, а то и просто его не испытывать: материя есть материя, она не благородная и не низменная, вечно меняющаяся, и какая разница, из какого источника она возникла на этот раз. Азот есть азот, чудесным образом переходящий из воздуха в растения, от них к животным, от животных к нам; когда функция его в нашем теле выполнена, мы освобождаемся от него, но он все равно остается азотом — асептическим и невинным. У нас, я хочу сказать, у млекопитающих, обычно нет проблем с питьевой водой, и мы приладились встраивать азот в молекулу растворимой в воде мочевины, чтобы в таком виде его выводить. Другие животные, для которых вода — большая ценность (или те, кто произошел от таких предков), прибегают к хитроумно-

му способу упаковки своего азота в нерастворимую в воде мочевую кислоту, а эту кислоту уже выделяют в твердом состоянии, не нуждаясь в воде для ее перемещения. Похожий метод придуман в наши дни для городского мусора: его прессуют в компактные брикеты, которые можно вывезти на свалку или закопать с минимумом затрат.

Скажу даже больше: мысль о получении косметического средства из экскрементов, так сказать, *aurum de stercore* (золота из навоза), вместо того чтобы шокировать, даже позабавила меня; было в ней согревающее сердце возвращение к истокам, к тем временам, когда алхимики добывали фосфор из мочи. Мне предстояло уникальное, веселое и даже почетное приключение — облагораживать, восстанавливать, воссоздавать. Так поступает и сама природа: изящный папоротник она возвращает на гниющей лесной подстилке, чудесный луг — на навозе; и разве латинское название удобрения — *laetamen* — не означает еще и *увеселение, радость*? Так меня учили в лицее, так это слово употребляет Вергилий, так его воспринял теперь и я. Вернувшись вечером домой, я рассказал жене про аллоксан и мочевую кислоту и объявил, что завтра отправляюсь по делам: возьму велосипед и буду объезжать пригородные курятники (тогда в пригородах еще были курятники), чтобы раздобыть куриный помет. Жена моя ни минуты не колебалась: ей всегда нравилась сельская местность

и вообще жена должна следовать за мужем, так что она тоже поедет. Получится своего рода дополнение к нашему свадебному путешествию, которое по экономическим причинам вышло поспешным и кратким. Но, предупредила меня она, не надо строить иллюзий: найти куриный помет в натуральном виде будет не так-то просто.

И действительно, это оказалось совсем не просто. Во-первых, нам, горожанам, и невдомек, что птичий помет (благодаря все тому же азоту) — очень ценное огородное удобрение и даром никто его не отдает; его можно только купить, причем дорого. Во-вторых, покупатель должен сам собирать товар, забираясь на четвереньках в курятники или ползая по птичьему двору. В-третьих, то, что удастся таким образом собрать, можно непосредственно использовать для удобрения, но для переработки это сырье малопригодно. Оно представляет собой смесь помета, земли, камешков, птичьего корма, перьев и *перпухин* (так на пьемонтском диалекте называются вошки, обитающие у кур под крыльями, — не знаю уж, как они называются по-итальянски). В конце концов, потратив на эту затею немало денег, изрядно попотев и вымотавшись за день, мы с моей отважной женой возвращались вечером домой по Корсо Франча и везли на багажнике велосипеда около килограмма добытого тяжким трудом продукта куриной жизнедеятельности.

Назавтра я обследовал нашу добычу: изрядную долю составляла «пустая порода», но кое-что набрать все же удалось. И тут мне пришла в голову другая идея: как раз в это время в галерее «Метро» (галерея существует в Турине уже сорок лет, а метро до сих пор нет) открылась выставка змей. Почему бы туда не сходить? Змеи — опрятные создания, у них нет перьев, вшей, и сами они не роются в пыли, как куры; кроме того, питон гораздо крупнее курицы. Его экскременты, на 90 процентов состоящие из мочевой кислоты, можно было бы получать в больших количествах, приличными порциями и с разумной степенью чистоты. На этот раз я пошел один: моя жена — дочь Евы и змей она не любит.

Директор и служащие выставки отнеслись к моей просьбе с презрительным недоумением. Где мои рекомендации? Откуда я взялся? Что я о себе воображаю, если посмел вот так, просто, сюда явиться и просить змеиный помет? Об этом и речи не может быть, они не дадут мне ни грамма; питоны — создания серьезные, они едят два раза в месяц и столько же раз опорожняются, особенно если мало двигаются. Помета очень мало, и он продается на вес золота; кроме того, все организаторы выставок и владельцы змей имеют постоянные контракты на эксклюзивной основе с крупными фармацевтическими фирмами. Так что я могу идти, откуда пришел, и не морочить им голову.

Я потратил целый день на первичную сортировку куриного помета, а потом еще два дня на окисление содержащейся в нем кислоты до аллоксана. Добродетели и терпение химиков былых времен, должно быть, превосходили простые человеческие мерки; а может статься, сказалась моя безмерная неопытность в работе с органикой: я ничего не добился. Зловонные испарения, досада, чувство унижения, да черная мутная жидкость, которая намертво забивала фильтры и ни за что не хотела кристаллизоваться, как ей было положено по методике, — вот результат всех моих усилий. Навоз остался навозом, а аллоксан — звучным названием. Выход был не здесь, а где — я не знал и совсем пал духом. Как же теперь быть — мне, написавшему прекрасную (с моей точки зрения) книгу, которую никто не хочет читать? Не лучше ли вернуться к скучным, зато надежным схемам неорганической химии?

ОЛОВО

Плохо родиться бедным, думал я, держа над пламенем газовой горелки оловянный слиток. Постепенно олово начало плавиться и ронять тяжелые шипящие капли в кювету с водой, образуя на дне ее удивительные, никогда не повторяющиеся металлические композиции.

Есть металлы дружественные и враждебные. Олово было другом, и не только потому, что мы с Эмилио уже несколько месяцев зарабатывали на жизнь, продавая хлорид олова изготовителям зеркал, но и по причинам совсем другого рода. Соединяясь с железом, например, олово превращает его в мягкую жечь, лишает кровожадной сущности, не оставляя и следа от того, что называется *nocens ferrum**. Оловом еще финикийцы торговали, и, поскольку до сих пор его добывают, очищают и отгружают в далеких сказочных краях, про него говорят: олово из Проливов, со Счастливого острова, с Архипелагов. Соединяясь с медью, оно рождает бронзу — всеми уважаемый, *well established*** , практи-

* Вредоносное железо (лат.).

** Почтенный (англ.).

чески вечный металл; температура плавления у олова низкая, оно похоже на органические соединения, оно — почти как мы. И еще у него есть два замечательные свойства, носящие живописные и не слишком правдоподобные имена «оловянная чума» и «оловянный крик»; эти свойства еще никому не удалось проверить на собственном опыте, зато о них упоминается во всех школьных учебниках: «оловянная чума» — это свойство олова рассыпаться в порошок при низких температурах, а «оловянный крик» — звук, издаваемый палочкой из чистого олова при изгибе, он, будто бы, похож на крысиный писк.

Олово приходилось гранулировать, поскольку в таком виде оно лучше поддается воздействию соляной кислоты. Так тебе и надо! Ты работал на фабрике на берегу озера, был, что называется, под крылом, и пусть птица была хищной, зато крылья у нее были большие и сильные. Ты хотел выйти из-под опеки, лететь, куда пожелаешь. Ну что ж, лети! Хотел вырваться на свободу и вырвался, хотел стать химиком и стал им: возишься с ядами, губной помадой, куриным пометом, гранулируешь олово, заливаешь его соляной кислотой, концентрируешь, переливаешь, кристаллизуешь. Ты знаешь, что такое голод, и больше не хочешь голодать. Ты покупаешь олово, а продаешь его хлорид.

Лабораторию Эмилио оборудовал в квартире родителей, людей наивных, чистых, простодушных и терпеливых. Предоставляя в распоряжение сына свою

спальню, они, естественно, не предвидели всех последствий, и теперь им ничего не оставалось, как смириться. В прихожей в оплетенных бутылках стояла концентрированная соляная кислота; кухонная плита (в свободное от готовки время) использовалась для концентрации хлорида олова в шестилитровых ретортах и колбах; вся квартира была наполнена испарениями.

Отец Эмилио, величественный старик с седыми усами и рокочущим голосом, был добросердечным человеком. За свою жизнь он перепробовал много занятий, все рискованные и необычные, и даже в семьдесят лет продолжал испытывать жадный интерес к экспериментам. В те времена он держал монополию на кровь всего забиваемого на старой городской бойне (что на виа Ингильтерра) крупного рогатого скота и много времени проводил в грязном помещении с побуревшими от запекшейся крови стенами, липким полом и крысами размером с кроликов. Даже квитанции, даже учетные книги и те были в крови. Из крови он делал пуговицы, клей, оладьи, кровяную колбасу, фасадную краску и мастику для полов. Газеты и журналы он читал исключительно арабские, выписывая их из Каира, где прожил много лет, где родились трое его детей, где он с оружием в руках защищал итальянское консульство от разъяренной толпы и где осталось его сердце. Каждый день он на велосипеде отправлялся к Порто Палаццо за ароматными травами, сорго, арахисовым маслом и сладким картофелем: к этим ингредиентам

он добавлял кровь и готовил экспериментальные блюда, каждый раз разные. Он расхваливал их и угощал нас. Однажды он принес домой крысу, отрезал ей голову и лапки, сказал жене, что это морская свинка, и за жарил ее. Цепь на его велосипеде была открытой, и он, отправляясь за покупками, закалывал штанины прищепками для белья, а поскольку спина уже сгибалась плохо, так весь день и ходил. Разрешив устроить дома лабораторию, он и его милая жена, синьора Эстер, родившаяся на Корфу в венецианской семье, оставались спокойными и невозмутимыми, как будто всю жизнь хранили в кухне всякие кислоты и ядовитые жидкости. Бутыли с кислотой мы поднимали на пятый этаж в лифте. У отца Эмилио был такой авторитет, что никто в доме не осмеливался нам и слова сказать.

Наша лаборатория походила на лавку старьевщика и на трюм китобойного судна одновременно. Загромоздив ее, мы заняли также кухню, переднюю и даже ванную комнату. Балкон был завален частями мотоцикла, купленного Эмилио в разобранном виде. Он обещал собрать его со дня на день, но пока огненно-красный бак стоял, прислоненный к балконной решетке; мотор, покрытый москитной сеткой, ржавел от едких испарений; кроме того, на балконе хранились емкости с аммиаком, из которого Эмилио, еще до меня, делал нашатырный спирт, растворяя его в питьевой воде и отравляя всю округу. Повсюду — и в квартире, и на балконе — было навалено всякое барахло, настолько старое, что понять, откуда оно взя-

лось, уже не было никакой возможности, и только при очень тщательном обследовании удавалось по отдельным деталям определить, принадлежит данная вещь хозяевам квартиры или имеет отношение к нашей профессиональной деятельности.

Посреди лаборатории находился вытяжной колпак из дерева и стекла — наша гордость и наше спасение от ядовитых испарений. Вообще-то соляная кислота не так уж опасна; она из тех врагов, которые заявляют о себе открыто, предупреждая о своем появлении заранее. От соляной кислоты легко уберечься, ведь у нее настолько резкий запах, что всякий, почувствовав его, поспешит убежать. И спутать его ни с чем нельзя, потому что, вдохнув испарения соляной кислоты, выдыхаешь белый дымок; он выходит из ноздрей двумя тонкими струйками, как у лошадей в фильме Эйзенштейна, а на зубах у тебя такая оскомина, словно ты съел целый лимон. Несмотря на нашу дорогую и любимую вытяжку, вся квартира пропиталась кислотными испарениями: обои на стенах изменили цвет, металлические ручки, петли, замочные скважины стали тусклыми и шершавыми, время от времени то в одной, то в другой комнате раздавался зловещий звук; это означало, что очередной, разъеденный коррозией гвоздь сломался и висевшая на нем картина упала на пол. Эмилио забивал новый гвоздь и вешал картину на место.

Итак, мы растворяли олово в соляной кислоте, доводили раствор до требуемой концентрации и да-

вали ему выкристаллизоваться. По мере остывания раствора в нем образовывались изящные ромбические кристаллы, бесцветные и прозрачные. Процесс кристаллизации долог, а поскольку соляная кислота разъедает любой металл, нам требовались стеклянные или керамические емкости. В те периоды, когда у нас было много заказов, нам требовалось много посуды. К счастью, этого добра в доме Эмилио хватало; в ход шло все: супница, эмалированная кастрюля, абажур начала века, ночной горшок.

К следующему утру хлорид скапливался на дне посуды, пора было его отцеживать. Но нужно было внимательно следить, чтобы он не попал на руки, иначе они долго будут вонять. Сама по себе эта соль не имеет запаха, но каким-то образом реагирует с кожей, возможно разрушая кератиновую защиту и высвобождая тяжелый и стойкий запах металла, который в течение нескольких дней выдает в тебе химика. Хлорид агрессивен и в то же время нестойк, как некоторые капризные спортсмены, которые хнычут, если проигрывают. Его нельзя торопить; надо оставить его на воздухе и дать ему возможность спокойно высохнуть. Если его подогреть, даже самым щадящим способом, например с помощью фена для волос или на батарее отопления, его кристаллы отдают влагу, а вместе с ней теряют прозрачность, и глупые клиенты не хотят его брать. Глупость их в том, что они не понимают своей выгоды: чем меньше воды, тем больше олова, а зна-

чит, выше эффективность, но, как известно, клиент всегда прав, особенно если этот клиент — производитель зеркал, плохо разбирающийся в химии.

Ничего от великодушной щедрости олова, металла Юпитера, в его хлориде не остается; хлориды — это плебеи, можно даже сказать — отбросы; они гигроскопичны, а потому малоприменимы (исключение составляет обычная соль, но о ней разговор особый). Хлорид олова — активный восстановитель; он горит желанием освободиться от двух своих электронов, и для этого ему достаточно самого незначительного повода. Нередко такое нетерпение приводит к печальным последствиям; так, однажды хватило буквально капли концентрированного раствора, скатившейся по моим брюкам, чтобы на них появился разрез, словно от удара сабли, а в то послевоенное время у меня не было других брюк, только эти, выходные, и денег в семье не было, чтобы купить новые.

Я никогда не ушел бы сам с завода на берегу озера и до скончания века продолжал бы восстанавливать испорченные краски, если бы Эмилио не настоял на моем уходе, убедив меня, что свободная профессия интереснее и почетнее. Я уволился с бесшабашной смелостью, оставив коллегам и начальству шутовское завещание в форме четверостишия. Сознывая, что совершаю рискованный поступок, я в то же время понимал, что с годами все труднее решиться реализовывать свое право на ошибку, так что, если уж решился, лучше

с этим не тянуть. С другой стороны, чтобы убедиться, что ты ошибся, много времени и не требуется: в конце каждого месяца мы подсчитывали наши доходы, и было ясно, что одним хлоридом олова не проживешь. По крайней мере, я не проживу, поскольку только что женился и у меня за спиной не стояли благополучные родители, на помощь которых я мог бы рассчитывать.

Мы не сразу сдались; почти месяц, в надежде заработать и еще какое-то время продержаться, мы бились над получением ванилина из эвгенола, но у нас так ничего и не вышло; потом доморощенными средствами наладили производство пировиноградной кислоты. Это был каторжный труд, и я поднял белый флаг: всё, буду искать работу, возможно, вернусь на лакокрасочный завод.

Эмилио с грустью воспринял наше общее поражение и мое дезертирство, но держался мужественно. С ним все было иначе: в его венах текла отцовская кровь — кровь пиратов, инициативных торговцев, людей, жадных до всего нового. Он не боялся сделать неправильный выбор, впасть в нищету, менять каждые шесть месяцев работу, место жительства, образ жизни; не было у него и кастовых предрассудков: он не видел ничего особенного в том, чтобы сесть в рабочем комбинезоне на мопед с прицепом и отвезти клиенту наш с таким трудом полученный хлорид. Погрустив, Эмилио уже на следующий день обдумывал новые планы, прикидывал, где найти партнеров, более приспособ-

ленных к жизни, чем я, и решил, не теряя времени, приступить к демонтажу лаборатории. В отличие от него, я еле сдерживался, чтобы не разреветься или не взвыть от тоски, как собаки, когда видят, что хозяева собирают чемоданы. В нашей печальной работе нам помогали (точнее, мешали) синьор Самуэле и синьора Эстер. В результате этой работы выплыли на свет давно и тщетно разыскиваемые семейные реликвии и разные экзотические предметы, погребенные под многими геологическими слоями в разных уголках дома: затвор автомата «Беретта 38 А» (еще с тех времен, когда Эмилио партизанил и ходил из долины в долину, распределяя по отрядам запчасти), миниатюрное издание Корана, длинная курительная трубка из фарфора, сабля из дамасской стали с инкрустированным серебром эфесом, куча пожелтевших бумаг, среди которых обнаружился указ 1785 года, который я жадно присвоил себе; в нем Ф. Том. Лоренцо Маттеуччи, Главный инквизитор Анконы, наделенный особыми полномочиям в борьбе с ересью, высокомерно и безапелляционно приказывает и со всей определенностью требует, чтобы ни один еврей не смел брать у христиан уроки музыки ни на одном инструменте, а тем более уроки танцев. Самую трудную часть работы — разборку вытяжного колпака мы отложили на следующий день.

Несмотря на уверенность Эмилио в том, что мы справимся, сразу же стало ясно, что наших усилий недостаточно. Пришлось (к нашему прискорбию) при-

звать на помощь двух плотников, которым Эмилио велел соорудить подобие лесов, позволяющих снять и спустить вниз колпак целиком, не разбирая на отдельные детали. Ведь этот колпак был символом ремесла, признаком высокого профессионального уровня, наконец, произведением искусства; ему положено было целым и невредимым перебраться во двор, чтобы со временем, возможно, обрести новую полезную жизнь.

Плотники сколотили леса, установили полиспаст, закрепили направляющие канаты. Мы с Эмилио руководили церемонией снизу, и вот колпак торжественно выполз из окна, тяжело подпрыгнул, словно собирался взлететь в серое небо над виа Массена, повис на одном из тросов, трос закрипел и лопнул. Колпак, пролетел пять этажей и рухнул к нашим ногам, превратившись в груды щепок и осколков, которые еще пахли эвгенолом и пировиноградной кислотой. Вместе с ним рухнули и наши смелые предпринимательские мечты.

В те короткие мгновенья, пока колпак летел, сработал инстинкт самосохранения, и мы успели отскокить назад.

— Я думал, шуму будет больше, — сказал Эмилио.

УРАН

Отдел обслуживания клиентов не доверит переговоры первому попавшемуся сотруднику. Потому что работа эта тонкая и сложная, сродни дипломатической. Чтобы добиться успеха, надо уметь внушать доверие, а для этого обязательно самому верить в собственные способности и в продаваемую продукцию; таким образом, можно сказать, что работа с клиентами полезна: она помогает познать самого себя и закаляет характер. Возможно даже, она самая полезная из десяти специальностей, которыми должен владеть химик, работающий на производстве, поскольку учит импровизировать, развивает красноречие, быстроту реакции, способность понимать и быть понятным; кроме того, она дает возможность ездить по Италии и другим странам, сводит тебя с разными людьми. Не могу не упомянуть еще одну любопытную и благотворную особенность работы с клиентами: годами делая вид, будто относишься с уважением к себе подобным и даже им симпатизируешь, привыкаешь относиться к ним так на самом деле (похожий пример:

тот, кто долго симулирует сумасшествие, в конце концов и впрямь сходит с ума).

В большинстве случаев от первой встречи зависит, удастся тебе занять выгодную для тебя позицию и завоевать доверие клиента или нет. Причем действовать надо мягко, доброжелательно, не пугая человека и не припирая его к стенке. Он должен чувствовать твое превосходство, но превосходство незначительное, при котором ты остаешься предсказуемым, понятным. Например, ни в коем случае нельзя заводить разговор на химические темы с нехимиком; это азбучная истина, ее знают все, кто имеет опыт такой работы. Гораздо опаснее, когда клиент начинает припирать к стенке тебя. Такое вполне может случиться, потому что он играет на своем поле, иначе говоря, применяет на практике тот продукт, который ты ему продаешь, а потому знает его достоинства и недостатки так же хорошо, как жена знает достоинства и недостатки своего мужа, в то время как твое знание, полученное в лаборатории или в цехе, где этот самый продукт производился, — знание человека незаинтересованного, равнодушного, безразличного. Наиболее благоприятным можно считать расклад, при котором ты выступаешь в роли благодетеля, убеждая клиента, что твой товар — это именно то, чего ему всю жизнь не хватало или о чем он давно мечтал, пусть даже и бессознательно. Обязательно следует обратить его внимание на материальную выгоду, ска-

зять, что к концу года он сам убедится, что не прогадал, потому что у конкурентов он мог бы и дешевле купить, они, как известно, умеют пустить пыль в глаза, но где гарантии, что их продукция... впрочем, на этом месте лучше остановиться. Можно облагодетельствовать клиента и другими способами (широкий простор для фантазии): помочь ему разрешить техническую проблему, имеющую косвенное отношение к твоей продукции или вообще никакого не имеющую; дать полезный адресок, пригласить на обед в ресторан, «где отличная местная кухня», показать ему город, помочь выбрать подарок для жены или подружки, достать для него в последний момент билет на футбольный матч (да, и на такое приходится идти). У моего коллеги из Болоньи большой, постоянно пополняемый набор сальных анекдотов, которые он усердно выдает клиентам попеременно с технической информацией. Поскольку память у него дырявая, он ведет журнал учета (в каком городе или провинции кому что рассказывал), потому что рассказать один анекдот одному и тому же человеку дважды — непростительный промах.

Все это приходит с опытом, но встречаются такие экземпляры, которые, кажется, родились для того, чтобы работать с клиентами, подобно Минерве, покровительнице ремесел и искусств. Что касается меня — должен с грустью констатировать: это не мое призвание. Когда мне приходится общаться с клиентами, не важно, у нас ли на предприятии или во вре-

мя командировки, я злюсь и делаю это неохотно, через силу, почти формально. Хуже того: я нетерпелив и даже груб с теми клиентами, которые нетерпеливы и грубы со мной, и мягок и обходителен с поставщиками, которые (будучи командированы своими отделами обслуживания клиентов) со мной мягки и обходительны. Короче говоря, работать с клиентами я не умею и вряд ли уже когда-нибудь научусь.

Табассо сказал мне:

— Поезжай туда-то и туда-то, спроси Бонино, начальника отдела. Он звезд с неба не хватает, но мужик хороший. Нашу продукцию знает, пока с ним никаких проблем не было, но мы не ездили к нему три месяца. Вот увидишь, все будет хорошо. Если он заговорит о ценах, отвечай уклончиво: дескать, это не твоя компетенция, но ты начальству доложишь.

Я назвал себя, мне дали заполнить формуляр и выдали карточку, которую следовало прицепить на грудь, чтобы сразу было видно, что я здесь не работаю и вместе с тем защищен от грубых действий охраны. Меня провели в приемную, но уже минут через пять появился Бонино и повел меня в свой кабинет. Это был хороший знак, потому что не всегда так бывает: некоторые, хотя время встречи обговаривается заранее, преднамеренно заставляют тебя ждать по тридцать и по сорок минут, чтобы принизить и продемонстрировать свое превосходство. Это напоминает

поведение павианов в зоопарке с одной лишь разницей, что обезьяны действуют более изобретательно и непристойно. Впрочем, это слишком общее сравнение; стратегию и тактику работников отдела обслуживания клиентов скорее можно сравнить с обольщением. Действительно, в обоих случаях речь идет об отношениях двоих. Представить себе в подобной ситуации трех участников невозможно. И в первом, и во втором случае вначале наблюдается нечто вроде ритуального танца или ритуальной прелюдии, причем покупатель обратит внимание на продавца только в том случае, если тот строго придерживается законов церемонии. Допустим, продавец неукоснительно выполняет все па ритуального танца, тогда и покупатель, не в силах устоять, тоже вступает в танец, после чего, если оба не успели разочаровать друг друга, они, не скрывая нетерпения, приступают к спариванию (к заключению сделки). Проявление жестокости одним из партнеров наблюдается редко, недаром в рассказах о таких случаях используются термины, заимствованные из области половых отношений.

Бонино был неухоженный, плохо выбритый толстячок с беззубой улыбкой и собачьими глазами. Я представился и, желая добиться его расположения, приступил к исполнению танца, но он вдруг сказал:

— А, так это вы написали книгу!

Признаюсь, я дал слабину: не скажу, что такое не предусмотренное ритуалом начало мне не понрави-

лось, хотя оно и не сулило никакой выгоды предприятию, которое я представлял. С этого момента деловой разговор начал затухать, вернее, терять свое профессиональное, связанное с целью моего визита направление.

— Прекрасный роман, — продолжал Бонино, — я прочел его во время отпуска и жене дал прочесть, а детям нет, побоялся, что он сильно на них подействует.

Обычно подобные высказывания меня раздражают, но раз уж ты представляешь отдел обслуживания клиентов, будь любезен сдерживаться. Я вежливо поблагодарил своего собеседника и попытался вернуть разговор в нужное русло, то есть поговорить о красках, но Бонино сопротивлялся:

— Между прочим, я тоже рисковал разделить вашу судьбу, так что мы сегодня могли здесь и не встретиться. Нас уже загнали во двор казармы на Корсо Орбассано, и вдруг я заметил его, вы понимаете, о ком я, он входил в ворота. Тогда я незаметно перемахнул через стену, свалился по ту сторону, пролетев добрых пять метров, и убежал. Потом ушел с бадольянами в Валь Суза.

Мне еще не приходилось слышать, чтобы бадольяны называли сами себя бадольянами. Я внутренне отгородился от него и даже сделал глубокий вдох, словно собирался надолго погрузиться под воду. Рассказ не обещает быть коротким, это ясно, так что придется запастись терпением. Я вспомнил, сколько

длинных историй, подчас даже против воли, пришлось мне выслушать за свою жизнь, вспомнил библейский завет: «Любите и вы пришельца; ибо сами были пришельцами в земле Египетской»* — и поудобнее устроился на стуле.

Бонино не был хорошим рассказчиком: он отвлекался, повторялся, делал отступления и отступления от отступлений. И еще у него была странная манера заменять имена собственные личными местоимениями третьего лица, что делало его рассказ еще туманнее. Пока он говорил, я рассеянно осматривал помещение, которое должно было уже много лет служить ему кабинетом, настолько оно напоминало его самого своим запущенным, неприбранным видом: окна были грязные, стены закопченные, воздух пропитался застоявшимся запахом табака. В стены тут и там были вбиты ржавые гвозди; одни торчали просто так, на других держались пожелтевшие листки. На одном из них я со своего места смог прочесть: «Предмет: тряпье. Все чаще...» На соседних гвоздях были нанизаны использованные бритвенные лезвия, карточки футбольного тотализатора, бесплатные рецепты страховой кассы, видовые открытки.

— ...и тогда он мне говорит, чтобы я шел сзади, нет, впереди; сзади пошел он сам, тыча мне пистолетом в спину. Потом подошел другой, они были вмес-

* Второзаконие, 10: 19.

те, но он стоял за углом и ждал. Вдвоем они отвели меня на виа Асти, ну, вы знаете, где это, и там был Алоизио Смит. Он то и дело вызывал меня и требовал: говори, говори, твои дружки давно признались, нечего строить из себя героя...

На письменном столе Бонино стояли уродливая Пизанская башня из какого-то легкого сплава, пепельница-раковина, забитая окурками и вишневыми косточками, а также алебастровый стакан в виде Везувия для хранения карандашей и ручек. Стол же был просто крошечный, даже по самым щедрым оценкам длиной меньше метра. Каждый работник отдела обслуживания клиентов хорошо изучил грустную науку о письменных столах, если не на теоретическом, то на бессознательном уровне — убожество письменного стола красноречиво говорит об убожестве его обладателя: если новый сотрудник в течение восьми—десяти дней не подчинит себе письменный стол, его можно считать конченным человеком, дольше, чем пару недель, он не проживет, как рак без клешни. Впрочем, я встречал людей, которые к концу своей карьеры уже располагали столом с необъятной, семи- или восьмиметровой сверкающей столешницей, у которого было одно-единственное назначение — продемонстрировать могущество своего хозяина. Что лежало на столе — никакого значения не имело: одним казалось, будто горы папок и беспорядочно наставленные канцелярские принадлежности должны про-

изводить на посетителя внушительное впечатление, другие, более утонченные, считали, что их высокому положению соответствует аккуратный свободный стол; говорят, именно так выглядел письменный стол Муссолини в палаццо Венеция.

— ...но ни один из них не заметил, что у меня за поясом тоже был пистолет. Когда они начали меня пытаться, я выхватил его, поставил всех лицом к стене и убежал. А он...

Кто он? Совершенно неясно! Рассказ запутывался все больше, время шло, и, даже если правда, что клиент всегда прав, есть предел всему, и никого нельзя заставить продать свою душу за гроши или до гробовой доски хранить верность фирме, в которой работаешь. Это просто смешно.

— ...я бежал и бежал, как можно дальше от того места, и через полчаса был уже в Риволи. Долго шел по улице и вдруг вижу: на поле, совсем близко, садится немецкий самолет. Такой, какие называют аистами; ему, чтобы сесть, пятидесяти метров хватает. Выходят из самолета двое и очень вежливо спрашивают: мол, простите за беспокойство, но не скажете ли, в какой стороне Швейцария? Я эти места как свои пять пальцев знаю; прямо, говорю, вон туда, до самого Милана, а потом налево. *Danke*, сказали они и опять залезли в свою машину, но потом один что-то поискал под сиденьем, вылез снова и направился ко мне, держа в руке вроде бы камень. Вы были так

любезны, сказал он, возьмите, это уран, он очень дорого стоит. Война уже кончалась, они поняли, что проиграли. Атомную бомбу они сделать так и так не успевали, и уран им был уже не нужен. Они думали только об одном: как бы спасти свою шкуру и убежать в Швейцарию.

Есть и предел самоконтролю. Бонино заметил на моем лице тень сомнения и, прервав рассказ, спросил с обидой:

— Вы мне не верите?

— Почему же не верю? Верю, конечно, — не моргнув глазом, ответил я, — но это и в самом деле был уран?

— А что же еще? Тут и сомневаться нечего: камень был тяжеленный и от него шел жар. Да он до сих пор у меня дома лежит. Я держу его в кладовке на балконе, чтобы дети не трогали. Когда друзья заходят, я вынимаю его, показываю, и, что удивительно, он до сих пор горячий. — Он немного помолчал и потом продолжил: — Знаете что? Я завтра пришлю вам кусочек, чтобы вы сами убедились. И раз вы писатель, то, может, когда-нибудь опишете и мою историю.

Я поблагодарил его и вернулся к выполнению своих обязанностей: продемонстрировал образец нового продукта, принял от него заказ (более чем скромный), попрощался и отправился восвояси, а на следующее утро нашел на своем столе (длиной в 1,2 метра) сверток. Я развернул его не без любопытства и обна-

ружил достаточно увесистый кусок металла размером в полпачки сигарет. Горячим он не был, тем не менее выглядел необычно: серебристо-белый, с легким желтоватым налетом, не похожий ни на один из тех металлов, с которыми успеваешь сродниться благодаря долгому общению, и не только в качестве химика: я имею в виду медь, цинк, алюминий. Может, это и впрямь уран? В наших краях металлический уран никто никогда не видел, но по всем описаниям он серебристо-белый. Такой маленький кусочек вряд ли может постоянно быть горячим; но большая масса размером с дом способна сохранять в себе тепло за счет энергии распада.

Как только представился случай, я кинулся в лабораторию, что для химика из отдела обслуживания клиентов совсем не характерно: лаборатория — место для молодых и ходить туда солидным людям считается даже не совсем приличным. Но именно поэтому, возвращаясь туда после многих лет, вновь чувствуешь себя семнадцатилетним со свойственной молодости тягой к приключениям, открытиям и неожиданностям. Тебе, понятное дело, давно уже не семнадцать, и долгая работа паракимики умертвила тебя, атрофировала и парализовала твои навыки, выветрила из памяти расположение реагентов и аппаратуры, заставила забыть все, кроме основных формул; и именно поэтому, переступая порог лаборатории, погружаешься в атмосферу счастья, чувст-

вуешь, как просыпается в тебе радость молодости с ее туманными, но всегда оптимистическими представлениями о будущем, с ее свободой.

Но за проведенные за стенами лаборатории годы ты не забыл некоторых профессиональных приемов, некоторых привычек, выдающих в тебе химика при любых обстоятельствах: прикасаться к незнакомому веществу ногтем или острием перочинного ножа, нюхать его, определять губами, *холодное* оно или *горячее*, проверять его твердость, царапая оконное стекло, рассматривать его в отраженном свете, прикидывать его вес на ладони. Определять удельный вес без весов — не простое дело, между прочим, удельный вес урана 19; он тяжелее свинца и ровно в два раза тяжелее меди.

Подарок, полученный Бонино от нацистских пришельцев, не мог быть ураном. Я заподозрил в безумном рассказе этого человека отголоски стойкой и широко распространенной в этих краях легенды об НЛО, летающих тарелках в районе Валь Сузы, неуловимых и бесплотных, точно духи на спиритических сеансах, которые люди принимают за небесные знамения, — так в Средние века относились к кометам.

Но если это не уран, то что? Я отпилил кусочек металла (он пилился легко) и стал нагревать его над горелкой Бунзена; неожиданно над пламенем появился и стал закручиваться в кольца темный дымок. Вызвавшее воспоминание о прошлом, во мне проснул-

УРАН

ся вдруг давно не востребованный, иссякший было жадный интерес к анализу. Я нашел фарфоровую чашку, налил в нее воды и установил ее над копящим пламенем; вскоре на дне чашки образовался хорошо мне знакомый темный осадок. Когда я капнул в чашку раствор нитрата серебра, черно-синий цвет, в который окрасился осадок, убедил меня, что исследуемый мною металл — кадмий, далекий потомок Кадма, засеявшего поле зубами убитого им дракона.

Где Бонино нашел кадмий — мне было неинтересно, возможно, у себя же на фабрике, в одном из цехов; гораздо интереснее было другое: как родилась его история (она действительно его, от начала до конца), но этого я так и не узнал. Мне потом говорили, что он рассказывал свою историю всем подряд, без предъявления вещественного доказательства, зато год от года со все более красочными и все менее правдоподобными деталями. И я, работник отдела обслуживания клиентов, со своими многочисленными служебными и общественными обязательствами, со своим неприятием лжи, завидую его безграничной свободе изобретательства, тому, что, разрушив все преграды, он стал хозяином прошлого, строит его, как хочет, и, облачившись в героические одежды, летит, точно Супермен, через века, меридианы и параллели.

СЕРЕБРО

Размноженные на ротаторе циркуляры обычно отправляют в корзину не читая, но эта бумажка, как я сразу понял, подобной участи не заслуживала. Бумажка представляла собой приглашение на банкет по случаю двадцать пятой годовщины окончания университета. Язык, на котором это приглашение было изложено, заставил меня призадуматься: автор обращался к адресату на ты и демонстративно щеголял траченным молью студенческим жаргоном, словно и не бывало этих двадцати пяти лет. Конец текста невольно вышел комичным: «...в атмосфере возрожденного товарищества отпразднуем нашу серебряную свадьбу с Химией и расскажем друг другу о химических событиях нашей повседневной жизни». Какие еще химические события? Отложение холестерина в наших пятидесятилетних артериях? Мембранное равновесие в наших клеточных мембранах?

Кто бы мог быть автором приглашения? Я принялся перебирать в уме двадцать пять или тридцать

числящихся в живых коллег — я имею в виду не только выживших, но и не покинувших химию ради других областей деятельности. Прежде всего — долой всех дам: все они матери семейств, все утратили подвижность и ни у кого из них больше нет «событий», о которых следовало бы рассказывать. Затем долой карьеристов и тех, кто сумел сделать карьеру, всевозможных протезе, в том числе тех, кто теперь уже сам оказывает протекцию, — эти не любят сравнивать себя с другими. Долой и неудачников, которые тоже не любят сравнений; на такую встречу жертва судьбы если и явится, то только в надежде на сочувствие и помощь, а уж брать на себя инициативу всех собирать вряд ли станет. Из оставшейся горстки само собой определилось вероятное имя: Черрато, честный, неуклюжий и старательный Черрато, которому жизнь дала так немного и который так немного отдал ей. После войны я изредка встречал его, мы перекидывались на ходу парой слов. Пословица «под лежащий камень вода не течет» — это как раз про него, но неудачником или жертвой судьбы он не был. Неудачник — это тот, кто отправляется в путь и срывается в бездну, кто ставит себе цель, не достигает ее и от этого страдает; а Черрато не ставил себе никакой особой цели, ничем особенно не рисковал, сидел себе дома и наверняка должен был сохранить самые теплые воспоминания о золотых студенческих годах, поскольку все остальные его годы были свинцовыми.

Перспектива такого банкета уже заранее вызывала у меня двойственное чувство; я никак не мог относиться к ней нейтрально, она одновременно притягивала и отталкивала меня, как магнит, поднесенный к стрелке компаса. Мне хотелось и не хотелось туда идти — и то и другое, если как следует посмотреть, по причинам не слишком-то благородным. Мне хотелось туда идти, потому что меня прельщала возможность сравнить себя с другими и увидеть, что я более подвижен и открыт, меньше скован заработком и преклонением перед идолами, и вообще жизнь меньше меня укатала. Мне не хотелось туда идти, потому что я не хотел оказаться человеком одних с ними лет, то есть моих собственных лет, не хотел видеть морщины, седины, боялся *temento mori*. Не хотел подсчитывать присутствующих и отсутствующих и производить несложные вычисления.

Но все-таки Черрато меня заинтриговал. В университетские годы нам с ним случалось несколько раз заниматься вместе; он был серьезен, не давал себе послабления и трудился без озарений и без радости (похоже, он вообще не знал, что такое радость), как шахтер в забое. Фашизмом он себя не запятнал и проверку на лакмусовой бумажке расовых законов прошел хорошо. Он не блистал, но на него можно было положиться, а опыт учит нас, что именно это свойство — надежность — и есть самое постоянное из всех достоинств; оно не приобретается и не утра-

чивается с годами. Человек рождается заслуживающим доверия, с открытым лицом и прямым взглядом и остается таким на всю жизнь. Другой рождается с гнильцой, со слабиной и таким и останется: если ты врешь в шесть лет, ты будешь врать и в шестнадцать, и в шестьдесят. Этот фактор очень важен; он позволяет понять, каким образом некоторые дружеские или супружеские связи удается сохранить на протяжении многих десятилетий вопреки обыденности, скуке, исчерпанию тем для разговоров. Мне показалось интересным проверить это на Черрато, так что я уплатил положенный взнос и написал анонимному оргкомитету, что буду участвовать.

Он не особенно изменился внешне — высокий, угловатый, смуглолицый, волосы все еще густые; тщательно выбрит; лоб, нос и подбородок тяжелые и как будто вылепленные наспех. До сих пор, как и тогда, он двигался неуклюже; эти резкие и в то же время неуверенные движения заработали ему в лаборатории славу губителя стеклянной посуды и приборов.

Как это всегда бывает, первые минуты нашего разговора были посвящены взаимному обновлению данных друг о друге. Я узнал, что он женат, детей не имеет, и тут же понял, что эту тему поднимать нежелательно. Еще я узнал, что он так и проработал все время в фотографической химии: десять лет в Италии, четыре в Германии, потом опять в Италии. Ко-

нечно же, это он и оказался организатором банкета и автором письма-приглашения. Он признался в этом без всякого смущения: если прибегнуть к профессиональной метафоре, годы учебы запечатлелись для него на цветной пленке, а все остальное — на черно-белой. Что же касается «событий» (я не стал указывать ему на неуклюжесть этого выражения), то это его по-настоящему интересовало. Его собственная карьера была богата событиями, по большей части, впрочем, действительно черно-белого свойства, а что моя? Разумеется, согласился я, и у меня в жизни хватало событий, химических и нехимических; правда, в последнее время химические события преобладали как по частоте, так и по интенсивности. Тебе ведь знакомо выражение «*nicht dazu gewachsen*»*, это ощущение бессилия и собственной неполноценности? Такое впечатление, будто ты ведешь бесконечную войну с вражеской армией, медлительной и неповоротливой, но страшной своей численностью и массой. Ты проигрываешь одну битву за другой, год за годом, и утешаешь свое уязвленное самолюбие лишь теми немногими случаями, когда во вражеских боевых порядках вдруг обнаруживается слабое звено и тебе удается, бросившись на приступ, нанести один-единственный быстрый удар.

* Мне это не по плечу (нем.).

Черрато тоже был знаком с этим воинством; он тоже на собственном опыте познал недостатки нашей подготовки, и ему тоже пришлось возмещать недостающее за счет удачи, интуиции, стратегических ходов и бездны терпения. Я рассказал ему, что собираю истории, случившиеся со мной самим и с другими, и хочу составить из них книгу; может быть, мне удастся донести до несведущего читателя резкий горький дух нашего ремесла, которое являет собой лишь частный случай всеобщего ремесла жизни, только требует больше терпения и настойчивости. По-моему, несправедливо, что мир в подробностях осведомлен о том, как живет врач, проститутка, моряк, наемный убийца, графиня, древний римлянин, заговорщик или полинезиец, и никто не знает, как живем мы, преобразователи материи. Я сказал Черрато, что в этой своей книге намеренно обойду молчанием большую химию — торжествующую химию колоссальных установок и головокружительных бюджетов, поскольку это труд коллективный и практически анонимный. Меня будут в первую очередь интересовать истории химиков-одиночек, химия пешая и безоружная, химия в человеческом измерении — как раз такой, за немногими исключениями, была моя собственная химия; но такой была и химия основоположников нашей науки — они ведь трудились не в команде, а поодиночке, окруженные безразличием своей эпохи, по большей части без заработка, и всту-

пали в бой с материей, не имея других помощников, кроме мозга и рук, рассудка и фантазии.

Я спросил Черрато, не хочет ли он поучаствовать в составлении такой книги; если да, то пусть расскажет какую-нибудь историю. Если позволительно дать ему совет, то пусть это будет история, похожая на его и мою, история о том, как пришлось неделю или месяц копошиться в потемках, когда казалось, что эта темнота будет длиться вечно, и хотелось бросить все к черту и сменить профессию, а потом в темноте забрезжил свет, при движении ощупью в ту сторону темнота расступалась, и наконец порядок пришел на смену хаосу. Черрато совершенно серьезно отвечал, что с ним действительно несколько раз бывало именно так и он постарается мне помочь, но вообще-то обычно все так и оставалось во тьме, никакой свет не брезжил, приходилось только раз за разом стучаться головой о потолок, который оказывался все ниже и ниже, и в конце концов выбираться из пещеры на четвереньках и задом, несколько постарев с тех пор, как туда забирался. Пока он рылся в своей памяти, устремив взор на изукрашенный претенциозными фресками потолок ресторана, я оглядел его самого. Черрато старился хорошо; он не деформировался, а, наоборот, словно рос и креп. Черты его так и остались скованными; ни лукавство, ни усмешка не оживляли их своим присутствием, но теперь это уже не оскорбляло взор — когда человеку пятьдесят, а не

двадцать, это как-то легче принять. Он рассказал мне историю о серебре.

— Я тебе рассказываю только суть, а фон ты сам изобразишь; как, например, живется итальянцу в Германии — ты ведь там тоже был. Я заведовал участком, где делали пленку для рентгенографии. Ты в этом что-нибудь понимаешь? Впрочем, это не важно; главное, что это пленка с низкой чувствительностью и с ней не бывает никаких неприятностей (между неприятностями и чувствительностью зависимость прямо пропорциональная), так что участок у меня был довольно спокойный. Только надо иметь в виду, что если плохо сработает любительская фотопленка, то в девяти случаях из десяти потребитель решит, что сам виноват; если же нет, то он в самом худшем случае обругает тебя в письме, которое все равно не дойдет из-за неточно указанного адреса. Зато если плохо выйдет рентгеновский снимок, особенно снимок желудка с барием или, скажем, нисходящая урография, а потом плохо выйдет другой снимок, и та же история с целым пакетом пленки, то тут дело на этом не остановится — неприятности будут расти как снежный ком, и в конце концов на тебя обрушится лавина. Все это мой предшественник изложил мне в свойственной немцам дидактической манере, стараясь оправдать в моих глазах фантастический ритуал чистоты, который следовало соблюдать от первой до послед-

ней стадии производства. Не знаю, насколько тебе это интересно, но уже то, что...

Тут я его прервал. Мелочные предосторожности, маниакальная страсть к чистоте, степень очистки до восьми нулей всегда заставляют меня страдать. Ладно еще, когда такие меры необходимы, но ведь гораздо чаще мания берет верх над здравым смыслом, и на каждые пять обоснованных предписаний или запретов найдется десять бессмысленных и бесполезных, которые никто не решается отменить только по лености мышления, из-за боязни сглазить или из болезненного страха нарваться на осложнения; а то и вообще дело обстоит, как в армии, где устав служит прикрытием для палочной дисциплины.

Черрато потянулся налить мне выпить; при этом его большая рука неуверенно двинулась к горлышку бутылки, как будто бутылка собиралась закудаhtать, захлопать крыльями и убежать от него. Наконец он наклонил бутылку над моим стаканом, несколько раз звякнув ею о край.

На их участке, как он подтвердил, дело именно так и обстояло; например, работницам было запрещено пудриться, но как-то раз у одной девицы из сумочки вывалилась пудреница, при падении раскрылась, и пудра из нее поднялась в воздух. Продукцию, изготовленную в этот день, проверяли особенно строго, но все было в лучшем виде; тем не менее запрет на пудру остался в силе.

— Но об одной детали я обязательно должен сказать, иначе вся история будет непонятна. Там была прямо-таки религия чистоты — в данном случае, уверяю тебя, это вполне оправданно. В помещении поддерживалось слегка повышенное давление, подаваемый внутрь воздух подвергался тщательной фильтрации, все работники носили поверх одежды специальные халаты, а волосы прикрывали колпаками. Халаты и колпаки каждый день стирали, чтобы избавиться от образующихся или случайно прихваченных пылинок. Обувь и чулки полагалось на входе снимать и переобуваться в специальные не создающие пыли тапочки.

На этом фоне все и разыгрывается. Надо еще добавить, что за последние пять или шесть лет там не случалось серьезных ЧП — так, одна-другая рекламация из какой-нибудь больницы по поводу пониженной чувствительности, причем почти всегда дело касалось пленки с уже истекшим сроком годности. Сам знаешь, неприятности не налетают галопом, как гунны; они подкрадываются незаметно, исподтишка, как эпидемия. Все началось с пришедшего экспресс-почтой письма из одного венского диагностического центра. Письмо, составленное в самых вежливых выражениях, можно было счесть даже не рекламацией, а скорее извещением; для иллюстрации прилагался рентгеновский снимок. По части зерна и контраста все было в порядке, но весь снимок был усыпан белы-

ми продолговатыми пятнышками размером с фасолину. В ответ отправляется покаянное письмо с извинениями за непреднамеренную оплошность и т.д., но как только первый ландскнехт скончался от чумы, иллюзий лучше уже не строить — чума есть чума, и нечего по-страусиному прятать голову в песок. На следующей неделе пришло еще два письма — одно из Льежа, с намеком на возмещение убытков, а другое из Советского Союза, из внешнеторговой организации со сложным названием, которое я теперь уже и не упомяну (а может, и тогда не мог упомянуть). Когда это письмо перевели, у всех волосы дыбом встали. Дефект, разумеется, был тот же самый — пятна в форме фасолин, а дальше шло хуже некуда: три операции, которые пришлось перенести, потерянные рабочие смены, центнеры подлежащей возврату пленки, экспертное заключение и международное судебное разбирательство в каком-то там трибунале. В конце от нас требовали немедленно прислать специалиста.

В таких случаях обычно стараются по крайней мере запереть хлев, из которого сбежала часть скотины, но это удается не всегда. Разумеется, вся пленка успешно прошла приемку перед выходом с фабрики; таким образом, мы имели дело с дефектом, который проявляется с задержкой, во время хранения на складе у нас или у клиента или при транспортировке. Директор вызвал меня на ковер; обсужде-

ние случившегося происходило в высшей степени корректно, с глазу на глаз, но мне казалось, что он медленно, методично, с наслаждением сдирает с меня кожу.

Мы договорились с контрольной лабораторией и перепроверили партию за партией всю пленку, оставшуюся на складе. Все партии, изготовленные менее двух месяцев назад, были в порядке. В остальных дефект наблюдался, но не везде — у нас было около сотни партий, и примерно одна шестая часть из них имела пятна-фасолины. Мой заместитель, молодой и по молодости еще шустрый химик, сделал любопытное наблюдение: бракованные партии попадались с определенной регулярностью, пять хороших — одна бракованная. Я почуял след и стал копать в этом направлении; и на самом деле бракованной оказалась практически исключительно пленка, изготовленная по средам.

Тебе, разумеется, известно и то, что такой не сразу проявляющийся брак — самый коварный. Пока мы ищем причину, надо все равно продолжать производство; но как можно быть уверенным в том, что эта причина (или причины) не продолжает действовать и что твоя продукция не несет в себе еще каких-нибудь бед? Понятно, можно поместить пленку в карантин на два месяца и потом всю заново проверить, но что мы скажем оптовикам по всему миру, когда они не получат в срок заказанный товар? А неустойка? А доб-

рое имя фирмы, а «*unbestrittener Ruf*»*. И вот еще в чем сложность: даже если мы что-то изменим в составе эмульсии или в технологическом процессе, все равно придется ждать два месяца, чтобы узнать, помогает это или нет, исчезает брак или усугубляется.

Я, естественно, чувствовал себя ни в чем не виноватым — я соблюдал все правила, не допуская никаких послаблений. Остальные участники технологической цепочки, и передо мной, и дальше, тоже чувствовали себя ни в чем не виноватыми — и те, кто проводил приемку сырья и признал его годным, и те, кто приготовил и признал годной эмульсию, и те, кто нарезал, упаковывал и складировал пачки пленки. Я чувствовал себя ни в чем не виноватым, но на самом деле я был виновен по определению, как начальник участка, отвечающий за него. Где есть ущерб, там есть и вина, а где есть вина, там есть и виноватый. Правда, вина тут была вроде первородного греха: ты ничего не сделал, но виноват и должен за это заплатить. Пускай не деньгами, но ты заплатишь: потеряешь сон, потеряешь аппетит, заработаешь язву или экзему и сделаешь большой шаг вперед на пути к тяжелому управленческому неврозу.

Тем временем письма и телефонограммы с рекламациями продолжали поступать, но я с остервенением

* Незапятнанная репутация (нем.).

пытался разобраться в этой истории со средой — должен же был в этом быть какой-то смысл? По вторникам в ночную смену дежурил охранник, которого я не любил; у него был шрам на подбородке, и вообще он смахивал на нациста. Я не знал, следует ли сказать об этом директору; сваливать вину на других всегда было дурной политикой. Я затребовал платежные ведомости и выяснил, что этот самый нацист работает у нас только три месяца, а фасоловые пятна начали появляться на пленке, изготовленной десять месяцев назад. Что же нового случилось десять месяцев назад?

Примерно десять месяцев назад мы начали, после строжайшей проверки, закупать у нового поставщика специальную черную бумагу, которая защищает от света фоточувствительную пленку, — но бракованная пленка была упакована вперемежку в бумагу, полученную от старого и нового поставщиков. Еще: десять месяцев назад (а точнее, девять) на фабрику приняли группу работниц-турчанок. Я переговорил с каждой из них отдельно, к большому их изумлению: я пытался выяснить, не делают ли они чего-нибудь особенного по средам или во вторник вечером. Может, они моются? Или не моются? Или пользуются каким-то особенным косметическим средством? Или ходят на танцы и потеют больше обычного? У меня не хватило смелости спросить, не вступают ли они по вторникам в интимные связи; как бы то ни

было, ни напрямую, ни через переводчика мне не удалось ничего выяснить.

Эта история стала уже известна всей фабрике, и на меня начали косо смотреть; помимо всего прочего, я был единственным итальянцем в должности начальника участка, и нетрудно вообразить, какими комментариями сослуживцы обменивались у меня за спиной. Помощь пришла от одного из вахтеров на воротах. Он немного говорил по-итальянски, поскольку воевал в Италии; он попал в плен к партизанам где-то в районе Биеллы, а потом его обменяли. Никакой обиды он не затаил и, будучи по натуре разговорчив, постоянно болтал обо всем подряд без конца и без начала — вот его-то пустая болтовня и подбросила мне нить Ариадны. Как-то раз он мне сказал, что любит рыбалку, но вот уже почти год, как в соседней речушке, где он обычно ловил, совсем нет рыбы — дело в том, что в пяти или шести километрах выше по течению построили кожевенный завод. Еще он сказал, что бывают дни, когда даже вода делается прямо-таки бурая. Я в тот момент не обратил внимания на эти его наблюдения, но через несколько дней, сидя у окна у себя в общежитии, я увидел, как возвращается из прачечной грузовик с халатами. Я навел справки: кожевенный завод заработал десять месяцев назад, а прачечная стирает халаты в воде из той самой речушки, в которой нашему рыбаку больше не удастся ничего поймать, хотя воду они, конечно,

фильтруют и пропускают через ионообменник. Халаты стирают днем, ночью сушат в сушилке, а утром, до гудка, возвращают на фабрику.

Я отправился на кожевенный завод: мне надо было узнать, когда, с какой частотой и по каким дням они опорожняют свои чаны и куда сливают. Поначалу они меня невежливо послали, но я вернулся через два дня вместе с врачом из санитарной службы; так вот, самый большой чан опорожняли еженедельно, в ночь с понедельника на вторник! Они мне не захотели сказать, что у них там было, но я и сам знал — органические дубильные вещества относятся к полифенолам, ионообменной смолой их не удержишь, а что может сделать полифенол с бромистым серебром, понятно даже тебе, хоть ты и не специалист в нашем деле. Я взял пробу дубильного раствора, отнес в лабораторию, разбавил в соотношении 1:10 000 и попробовал распылить в темном помещении с выставленным образцом рентгеновской пленки. Эффект проявился через несколько дней — чувствительность пленки буквально сошла на нет. Заведующий лабораторией глазам своим не верил — по его словам, он никогда прежде не встречал такого мощного ингибитора. Мы стали пробовать, как гомеопаты, все более и более разбавленные растворы; при разведении примерно один к миллиону получались пятна в форме фасолин, проявляющиеся только после двух месяцев хранения. «*Bohneneffekt*» (эффект фасоли) воспро-

изводился в полном объеме; получается, для образования пятна достаточно было нескольких тысяч молекул полифенола, приставших во время стирки к волокнам халата, а потом перелетевших на пленку вместе с невидимыми глазу пылинками.

Остальные наши сотрапезники шумно обсуждали детей, отпуска и жалованье; мы в конце концов удалились в бар и там, понемногу впадая в сентиментальность, обещали друг другу возобновить дружбу, которой на самом деле никогда не существовало. Мы обещали, что будем поддерживать между собою связь и что каждый из нас расскажет другому еще истории вроде этой, где глупая материя проявляет злонамеренную хитрость, сопротивляется и восстает против дорогого человеку порядка. Так в романах дерзкие отщепенцы, жаждущие погибели ближнего более, чем собственного триумфа, являются с другого края света, чтобы внезапно положить конец приключениям положительных героев.

ВАНАДИЙ

Краска — вещество изменчивое по определению. На каком-то этапе своего существования она способна неожиданно перейти из жидкого состояния в твердое. Важно, чтобы это случилось в удобный момент и в удобном месте, иначе последствия могут быть неприятными, а то и трагическими. Например, краска может затвердеть (мы говорим «сдохнуть»), находясь на складе, и тогда ничего не остается, как выбросить целую партию готового товара; или смола, на основе которой делается краска, может затвердеть прямо в десяти- или двадцатитонном реакторе в процессе синтеза, а это уже настоящая трагедия. Случается и обратное: краска не хочет затвердевать даже после нанесения ее на окрашиваемую поверхность, прямо издевательство какое-то! Ведь краска, которая не сохнет, все равно что ружье, которое не стреляет, или бык, который не кроет коров.

Процессу отверждения во многих случаях способствует содержащийся в воздухе кислород. Среди всего полезного и вредного, что делает кислород, нас,

лакокрасочников, интересуется в первую очередь его способность вступать в реакцию с некоторыми микромолекулами, в том числе с молекулами определенных масел; перебрасывая между ними мосты, кислород превращает их в твердые компактные сетки, благодаря чему льняное масло, например, на воздухе сохнет.

Мы закупили именно такую смолу, которая должна сохнуть при нормальной температуре в обычных атмосферных условиях, но с последней партией этой смолы было что-то не так: в чистом виде она затвердевала, как ей и положено было по инструкции, но стоило ее смешать с определенным (ничем другим не заменимым) типом сажи, способность затвердевать у нее резко снижалась, а то и вовсе пропадала. Нам уже пришлось забраковать несколько тонн черной эмали, хотя мы и пытались всеми способами исправить положение, но наши попытки так и не увенчались успехом: нанесенная на окрашиваемую поверхность эмаль не хотела сохнуть, она оставалась липкой, как лента для ловли мух.

В подобных случаях следует все тщательно проверить, прежде чем предъявлять претензии поставщику. А поставщиком злосчастной смолы была солидная немецкая фирма «В.», возникшая на базе могущественной корпорации «ИГ-Фарбен», которую союзники после войны разделили на несколько частей. Подобные фирмы, вместо того чтобы признать

обоснованными претензии клиента, бросают в бой тяжелую артиллерию своего авторитета и тянут волюнку до последнего. Но мы не могли отступить: эта смола была особая, ее производила только фирма «В.», причем до сих пор при соединении с той же самой сажей она вела себя нормально; у нас, в свою очередь, имелись обязательства перед другой фирмой, которой мы поставляли черную эмаль в оговоренные контрактом сроки, нарушать которые не имели права.

Я написал вежливое письмо, изложив суть проблемы, и уже через несколько дней получил ответ — многословный и педантичный, с предложением ряда очевидных мер (которые мы и так уже испробовали, не добившись никакого результата) и с никому не нужным подробным, хотя и маловразумительным, описанием процесса окисления смолы. Не желая войти в наше положение и поторопиться с выяснением причин брака, немецкие партнеры заверяли нас, что подобающая проверка уже ведется. Нам ничего не оставалось, как заказать им новую партию смолы и попросить их с особой тщательностью проверить, как она взаимодействует с используемым нами видом сажи.

Вместе с этим официальным ответом пришло еще одно письмо, почти такое же длинное, как и первое, правда, более толковое, подписанное доктором Л.Мюллером. В нем наши претензии (с боль-

шой осторожностью и оговорками) признавались обоснованными и содержались конкретные (в отличие от предыдущих) рекомендации: оказывается, сотрудники его, Мюллера, лаборатории совершенно неожиданно («*ganz unerwarteterweise*») обнаружили, что партия, о которой идет речь в рекламации, может быть «вылечена» путем добавления в нее 0,1 процента нафтената ванадия, о чем я, много лет занимаясь красками, никогда не слышал. Неведомый доктор Мюллер предлагал испробовать этот метод безотлагательно; тогда, если результат будет положительный, удастся избежать не нужных ни им, ни нам проблем, которые обязательно возникнут в случае международного конфликта и возвращения бракованной партии.

Мюллер. В моей предыдущей инкарнации был один Мюллер, но почему я решил, что это именно он? Мюллер — фамилия распространенная, Мюллеров в Германии не меньше, чем в Италии Молилари*. Тем не менее, перечитывая оба письма, перегруженных терминами, написанных тяжелыми, длинными фразами, я не мог отделаться от мысли, что это именно *тот* Мюллер; мысль, как заноза, засела в голове, не давала покоя. Хватит, говорил я себе, Мюллеров в

* Немецкая фамилии Мюллер и итальянская Молилари переводятся как «мельник».

Германии должно быть тысяч двести, так что займись лучше корректировкой краски.

Но вдруг в глаза бросилась одна странность, которую я проглядел при первом чтении второго письма; вместо слова «нафтенат» было написано: «наптенат», и это не была опечатка: слово в письме повторялось дважды. Возможно, в такое трудно поверить, но происходившее со мной тогда, в давно прошедшем времени, память до сих пор хранит в мельчайших подробностях: тот, другой Мюллер в незабвенной лаборатории, где царили ледяной холод, надежда и ужас, говорил «бета-наптиламин» вместо «бета-нафтиламин».

Русские подошли уже совсем близко; дважды или трижды в день самолеты союзников бомбили Буну* — на заводе не было ни воды, ни света, в окнах не осталось ни одного целого стекла, но оставался приказ: наладить в Буне производство резины; а немцы приказы не обсуждают.

В лаборатории нас, заключенных, было трое — три ученых раба, вроде тех, что богатые римляне привозили из Греции. Работать было невозможно, а главное — не нужно. Почти все время уходило на то, чтобы разобрать аппаратуру перед очередным налетом, а после отбоя снова собрать. Но, как я уже ска-

* Промышленная зона Освенцима.

зал, немцы приказы не обсуждают, поэтому время от времени через развалины и сугробы до нас добирались инспекторы, чтобы убедиться, что лаборатория продолжает функционировать, как положено. Один раз приезжал эсэсовец с каменным лицом, другой раз — дрожавший от страха пожилой военный из тыловых частей, а после военного — штатский. Этот штатский к нам зачастил, его звали доктор Мюллер.

Вероятно, он был важной шишкой, потому что все с ним здоровались первыми. Лет сорока, крупный, плотного телосложения, он скорее походил на простолюдина, чем на человека, занимающегося умственным трудом. Со мной он разговаривал три раза, и все три раза с редкой для того места застенчивостью, словно стыдился чего-то. Первый раз разговор был сугубо профессиональный (речь шла о дозировке того самого «наптиламина»), второй раз он спросил, почему я небрит, на что я ответил ему, что ни у кого из нас нет не только бритвы, но даже носового платка и что бритье нам положено раз в неделю, по понедельникам; в третий раз он дал мне бумажку, аккуратно напечатанную на машинке и позволявшую бриться дополнительно по четвергам, а также получить на вещевом складе пару кожаной обуви. Обращаясь ко мне на «вы», он спросил, почему у меня такой озабоченный вид. Я, уже думавший

к тому времени по-немецки, заключил про себя: «*Der Mann hat keine Ahnung*»*.

Но долг прежде всего. Я спешно занялся поисками нафтената ванадия у наших поставщиков, однако это оказалось не так-то просто, потому что его производили по заказу в небольших количествах, и для начала я его заказал.

Это «пт» вместо «фт» вызвало у меня жгучие воспоминания. Встретиться с кем-нибудь из «тех» один на один, припомнить ему все — долго еще после лагеря было самым сильным моим желанием, которое я смог удовлетворить лишь частично, читая письма своих немецких читателей. Благородные, но общие слова раскаяния и сочувствия незнакомых мне людей, о жизни которых я ничего не знал (впрочем, скорее всего, они ни в чем не были замешаны и лишь сочувствовали нацистскому режиму), не успокоили меня. Встреча, о которой я мечтал (она даже снилась мне по ночам по-немецки), должна была быть встречей с одним из тех, кто стоял там над нами, кто не смотрел нам в глаза, как будто у нас не было глаз. Я не жаждал мести, не собирался мстить, как граф Монтекристо, я хотел только поставить точки над «i» и спросить: ну, так что? Если этот Мюллер — мой Мюллер, идеальным врагом его не назовешь, потому что пусть

* Этот человек ничего не понимает (нем.).

легкое, пусть мимолетное, но все же он испытал тогда чувство жалости или что-то похожее на профессиональную солидарность. Даже если не жалость, не солидарность, а всего лишь досаду, что я, странный гибрид специалиста и подсобного рабочего, вроде бы его, Мюллера, коллега, хожу в лабораторию в непристойном для химика виде («ohne Anstand»), то и это немало, потому что другие по отношению к нам ничего подобного не испытывали. Да, Мюллер не был идеальным врагом, но все идеальное, как известно, существует только в сказках, а не в жизни.

Я связался с представителем фирмы «В.», с которым у меня сложились доверительные отношения, и попросил его осторожно навести справки о докторе Мюллере: сколько ему лет, как он выглядит, где работал во время войны. Ответ не заставил себя долго ждать: возраст и внешность совпадали, что же касается работы, то доктор Л. Мюллер сначала отработывал технику производства резины в Шкопау, а потом в Буне, в Освенциме. Я узнал его домашний адрес и послал ему «Человек ли это?» в немецком переводе и письмо, в котором спрашивал, действительно ли он — тот самый Мюллер из Освенцима и помнит ли он «*die drei Leute vom Labor*»*. Я извинялся за свое воз-

* Дословно: трое людей из лаборатории (нем.). Именно так, по-немецки, называется одна из глав книги «Человек ли это?».

вращение из небытия и грубое вторжение в его жизнь и сообщал, что являюсь одним из тех троих и одновременно представляю фирму, озабоченную поставкой невысыхающей смолы.

Пока я ждал ответа, служебная переписка шла своим чередом. Подобно медленным колебаниям гигантского маятника, обмен бюрократическими письмами продолжался: поскольку итальянский ванадий не идентичен немецкому, не будете ли вы столь любезны прислать нам характеристику вашего продукта, а также отправить авиапочтой 50 кг самого продукта, разумеется за наш счет. И так далее в том же духе. На техническом уровне вопрос вроде бы постепенно решался, но судьба партии бракованной смолы все еще оставалась неясной: отправить ли ее за счет фирмы «В.» назад, взыскать ли издержки или обратиться в арбитраж; для начала мы пригрозили, что намерены, как и положено, действовать в судебном порядке («*gerichtlich vorzugehen*»).

Личного ответа на мое личное письмо все не было, и это нервировало меня не меньше, чем перипетии со смолой. Что я знал об этом человеке? Ничего. Вероятнее всего, он, сознательно или нет, все забыл, а мое письмо, моя книга бесцеремонно, в нарушение всяческих приличий («*Anstand*») вторглись в его жизнь, подняли со дна его души устоявшийся осадок прошлого. Никогда он мне не ответит, а жаль: он не был типичным немцем. Впрочем, существуют ли вообще ти-

личные немцы? Или типичные евреи? Только в абстракции. Переход от общего к частному всегда таит в себе неожиданные открытия, и, когда некто безликий, лишенный индивидуальности постепенно или сразу обретает свой собственный образ, превращается в партнера, со-человека, *митменша**, во всей полноте обнаруживаются и его недостатки, отклонения и противоречия. Между тем скоро два месяца, как я отправил письмо и книгу, ответ уже не придет. Жаль.

Ответ пришел. Он был написан трудночитаемыми готическими буквами на красивом фирменном бланке и датирован вторым марта 1967 года. Это было письмо-признание, короткое и сдержанное. Да, он тот самый Мюллер из Буны. Он прочел мою книгу, вспомнил с волнением людей и места. Он очень рад, что я выжил, и хотел бы узнать о судьбе двух других человек из лаборатории. Он назвал их по именам, но в этом не было ничего странного, ведь о них идет речь в моей книге; странным было другое: он упомянул еще Гольдбаума, но я про него не писал. Еще он добавил, что перечитал по такому случаю свои записи того времени. Он с удовольствием прочел бы их и мне при личной встрече, «полезной как для Вас, так и для меня в плане преодоления столь ужасного прошлого (*«im Sinne der Bewältigung der so furchtbaren Vergangenheit»*). В завершение он сообщал, что из

* Mitmensch — со-человек (нем.).

всех узников Освенцима, с которыми он встречался, я произвел на него самое сильное, самое глубокое впечатление. Но последние слова, скорее всего, были лестью; судя по тону письма и особенно по фразе насчет «преодоления», он чего-то ждал от меня.

Теперь отвечать предстояло мне, и я растерялся. Дело сделано, враг обнаружен, вот он, передо мной, почти мой коллега, тоже занимается красками, пишет, как и я, на фирменных бланках и даже помнит Гольдбаума. Он, конечно, выражался достаточно завуалированно, но было ясно: он ждал от меня оправдания, чего-то вроде отпущения грехов, потому что его прошлое требовало преодоления, а мое — нет. Я же хотел от него только одного — компенсации за бракованную смолу. Ситуация интересная, хотя и странная: кто грешник и кто судья?

Начнем с того, на каком языке отвечать? Не на немецком, это точно, потому что я могу наделать нелепых ошибок, а в моем положении это не годится, так что лучше играть на своем поле. И я ответил ему по-итальянски: те двое умерли, где и как, мне не известно; Гольдбаум тоже умер от голода и холода на марше, во время эвакуации лагеря. Сведения обо мне можно почерпнуть из моей книги, а также из служебной переписки, касающейся ванадия.

У меня к нему было много вопросов: почему Освенцим? Почему доктор Паннвитц? Почему задушенные газом дети? Но я чувствовал, что еще не время

выходить за определенные рамки, поэтому спросил только, согласен ли он, прочитав книгу, с моими суждениями, выраженными прямо или между строк. Не думает ли он, что корпорация «ИГ-Фарбен» спокойно отнеслась к возможности использовать рабский труд? Знал ли он тогда об освенцимских «сооружениях», поглощавших по десять тысяч жизней ежедневно всего в семи километрах от заводских сооружений Буны? И наконец, поскольку он упомянул о своих «записках того времени», не мог бы он прислать мне экземпляр?

О «личной встрече» я не стал писать из страха. Заменять слово «страх» эвфемизмами, называть свое чувство стыдом, отвращением, неприязнью бессмысленно; «страх» — точное слово. Как я не чувствовал себя графом Монтекристо, точно так же я не чувствовал себя ни одним из Горациев или Куриациев*. Я не был готов представлять всех погибших в Освенциме и тем более осуждать в лице Мюллера всех палачей. Я знаю себя: я не обладаю быстротой реакции, необходимой в споре, отвлекаюсь от темы, потому что противник интересуется меня в первую очередь как человек, а не как противник. Я вхожу в его положение и даже готов ему верить. Негодовать, давать верные оценки я начинаю потом, когда ничего

* В римской мифологии три брата-близнеца Горации сразились с тремя своими двоюродными братьями Куриациями, добыв победу родному Риму.

уже нельзя изменить. Поэтому меня больше устраивал обмен письмами.

Мюллер прислал официальное письмо, в котором уведомлял меня, что пятьдесят килограммов ванадия нам отправлены, что фирма «В.» рассчитывает на мирное урегулирование спора и т.д. и т. п. Почти одновременно на мой домашний адрес от него пришло другое письмо, которое я ждал с нетерпением. Если бы я выдумал эту историю, то мне пришлось бы выбирать один вариант из двух возможных: либо мой Мюллер — христианин и пишет мне страстное покаянное письмо, либо он — неисправимый нацист, тогда тон его письма — ледяной, высокомерный, бездушный. Но поскольку история эта не вымышленная, а подлинная, то письмо от Мюллера оказалось далеким как от первого, так и от второго варианта; действительность всегда сложнее, резче, грубее и острее вымысла; она редко бывает предсказуема.

Письмо было длинное, на восьми страницах, в него была вложена фотография, увидев которую я вздрогнул: да, это *его* лицо, хотя и постаревшее, и облагороженное фотографом-профессионалом. Мне почудилось, что я снова слышу его слова — слова рассеянного, мимолетного сочувствия: «Почему у вас такой озабоченный вид?»

В этом простоватом сочинении было много риторики и педантизма, полуправды, отступлений и ком-

плиментов, эмоций и беспомощности, общих мест и суждений обо всем на свете.

В освенцимских злодеяниях он обвинял человеческую природу, находя для себя утешение в том, что существуют люди, похожие на Альберто и Лоренцо, о которых я писал в своей книге; «против таких людей оружие зла бессильно». Фраза эта моя, но, повторенная им, она прозвучала лицемерно, фальшиво. О себе он написал: «Захваченный общей волной энтузиазма, я поначалу приветствовал режим Гитлера и вступил в студенческий националистический союз, который вскоре был преобразован в СА*. Ему удалось выйти из организации, «и такое, — пишет он, — было возможно». Во время войны он был мобилизован, служил в частях противовоздушной обороны и только тогда, при виде разрушенных городов, испытал «стыд и отвращение к войне». В мае тысяча девятьсот сорок четвертого (как и я!) он смог найти применение своей профессии химика, устроившись на завод «ИГ-Фарбен» в Шкопау. Завод этой же корпорации, построенный затем в Освенциме, был задуман как его увеличенная копия. Там, в Шкопау, ему удалось взять в лабораторию группу украинских девушек и кое-чему их обучить. Я видел их в Освенциме и никак не мог объяснить себе их фамильярных

* Аббревиатура от «*Sturmabteilungen*» — штурмовые отряды нацистов (нем.).

отношений с доктором Мюллером. В Освенцим (вместе с девушками) он перебрался только в ноябре сроков четвертого года. Слово «Аушвиц» (Освенцим) тогда ничего не говорило ни ему, ни его знакомым, но по прибытии туда у него состоялась короткая встреча с техническим директором (по всей вероятности, с инженером Фаустом), который предупредил его, что «евреи Буны должны использоваться лишь на черной работе и проявлять к ним сочувствие недопустимо». Он попал в непосредственное подчинение к доктору Паннвитцу, тому самому, что устроил мне нелепый «государственный экзамен», чтобы проверить мой профессиональный уровень. У Мюллера явно сохранились самые негативные воспоминания о шефе, который, по его словам, умер в тысяча девятьсот сорок шестом году от опухоли мозга. Оказывается, это он, Мюллер, отвечал за создание лаборатории в Буне. О том экзамене, по его утверждению, он ничего не знал, а в лабораторию нас троих, и в первую очередь меня, выбрал именно он. Эта невероятная, но не невозможная новость делала меня его должником: ведь он спас мне жизнь! Он писал, будто нас связывали прямо-таки дружеские отношения, будто мы обсуждали с ним научные проблемы и будто он думал тогда, «как это ужасно, когда одни люди исключительно из жесткости уничтожают других людей, бесценных благодаря своим знаниям». Дело не только в том, что я не могу припомнить ни одного та-

кого разговора (хотя память на события того времени, как я уже говорил, у меня отличная); я даже представить себе не могу, чтобы мы, смертельно усталые, в полуразрушенном здании, в условиях всеобщего недоверия, вели ученые разговоры; объяснение тут напрашивается только одно: доктор Мюллер задним числом выдает желаемое за действительное («*wishful thinking*»). Похоже, часто повторяя эту историю в тех или иных обстоятельствах, он не подумал, что единственным человеком, который ему не поверит, окажусь я. Не исключено, что, конструируя удобное прошлое, он был полон благих намерений. О бритве и башмаках он не помнил, зато, к моему удивлению, хранил в памяти другие подробности. В частности, ему было известно о моей скарлатине, и он беспокоился о моей судьбе, особенно когда узнал, что заключенных эвакуируют пешком. Двадцать шестого января сорок пятого года его перевели из войск СС в народное ополчение — армию, собранную из белобилетников, стариков и детей, которой предстояло остановить наступление советских войск. К счастью, упомянутый выше технический директор спас его, отправив в тыл.

На мой вопрос об использовании корпорацией «ИГ-Фарбен» рабского труда он без колебаний ответил: да, заключенных использовали, но только ради их же сохранения. Он даже договорился до того, будто сооружение промышленного гиганта Буна—Моно-

витц, занимавшего территорию в восемь квадратных километров, было задумано и осуществлялось с целью «защитить евреев и помочь им выжить» (с ума сойти!). А приказ не проявлять сочувствия — всего лишь «eine Tarnung» (маскировка). «Nihil de Principe» — о государе (в нашем случае об «ИГ-Фарбен») ни одного худого слова! Мой корреспондент как-никак сотрудник фирмы «В.», наследницы «ИГ-Фарбен», ему не пристало плевать в тарелку, из которой он ест. Во время его короткого пребывания в Освенциме «он не заметил даже малейших признаков, которые указывали бы на то, что там совершались убийства евреев». Парадоксально, позорно, но... возможно. Для молчавшего немецкого большинства было характерно тогда не задавать лишних вопросов и не стремиться узнать. Он тоже ни о чем никого не спрашивал, в том числе и самого себя, хотя дым крематория в ясные дни был хорошо виден из заводских окон Буны.

Незадолго до полного краха он был арестован американцами и помещен в лагерь военнопленных, который с нескрываемым сарказмом назвал «примитивно обустроенным». Как и во время наших встреч в лаборатории, так и теперь, сочиняя свое письмо, этот человек по-прежнему «hatte keine Ahnung» (ничего не понимал). И не пытался понять. В конце июня он уже вернулся к семье. Содержание своих записей он изложил в этом письме, так что переписывать их для меня специально нет смысла.

В моей книге он усмотрел преодоление иудаизма, христианскую любовь к врагам и веру в человека. В конце письма он напомнил о необходимости встречи, в Германии или в Италии, ему все равно, он готов приехать, куда я скажу, в удобное для меня время, хотя лучше всего было бы встретиться на Ривьере. Через два дня на работе я получил письмо из фирмы «В.», датированное (скорее всего, не случайно) тем же числом, что и частное письмо доктора Мюллера, и под его же подписью. Тон письма был примирительный, фирма признавала свою вину и готова была рассмотреть наши предложения. Признавая, что нет худа без добра, нам сообщали, что благодаря случившемуся обнаружили полезные свойства нафтената ванадия, который впредь будет включаться непосредственно в состав смолы, поставляемой заказчикам.

Что было делать? Персонаж Мюллер, что называется, «*hatte sich entpuppt*»*, обрел свой облик, сфокусировался. Не мерзавец и не герой; если отфильтровать риторику и вольную или невольную ложь, получим типичный экземпляр серого человека, который (и таких было немало), живя в стране слепых, видел, пусть и одним глазом. Мне он оказал незаслуженную честь, наградив меня добродетельным даром любить своих врагов. Но хотя он и не враг мне в

* Превратился из куколки в бабочку (нем.).

строгом понимании этого слова и к тому же в давние времена оказал мне благодеяние, я не мог его полюбить. Не мог полюбить и не хотел с ним встречаться. Впрочем, определенного уважения он заслуживал: нелегко ведь быть одноглазым. Он не был ни равнодушным, ни бесчувственным, ни циничным; свои отношения с прошлым он так и не выяснил, хотя пытался или делал вид, что пыгается. Впрочем, какой спрос с человека, служившего в СА? Правда, если сравнивать его с другими добропорядочными немцами, которых я имел возможность встречать на пляже или у себя на предприятии, сравнение будет в его пользу. Он осуждал нацизм застенчиво, обиняками, но никогда его не оправдывал. У него была совесть, и он пытался ее успокоить, поэтому так хотел встретиться со мной, поговорить. В своем первом письме он писал о «преодолении прошлого», о *«Bewältigung der Vergangenheit»*. Позже я узнал, что это — стереотипное выражение в сегодняшней Германии, эвфемизм, означающий «освобождение от нацизма». Корень слова *«Bewältigung»* — *«walt»*, оно встречается в таких словах, как *«Gewaltherrschaft»* (тирания), *«Gewaltanwendung»* (жестокое обращение), *«Vergewaltigung»* (насилие), и я думаю, что, если мы переведем выражение *«Bewältigung der Vergangenheit»* не как «преодоление», а как «искажение прошлого» или «насилие над прошлым», мы не будем далеки от истины. Но даже попытка защититься общими словами луч-

ше не замутненной сомнениями твердолобости некоторых немцев. И пусть его попытки преодоления были наивны, нелепы, смешны и даже в какой-то степени жалки, они вызывают уважение. И еще: разве он не помог мне с обувью?

В первый же выходной день я принялся сочинять ответ. Написать достойно и искренне, обойдя при этом острые углы, — это была непростая задача, и я решил сначала набросать текст начерно. Я поблагодарил его за то, что он взял меня в лабораторию, уточнил, что готов прощать врагов и даже, возможно, любить их только в том случае, когда они проявляют признаки раскаяния, иначе говоря, перестают быть врагами. В противном случае, если враг остается врагом и продолжает упорствовать в своем стремлении причинять страдания, его прощать нельзя. Можно попытаться его переубедить, можно (и нужно) спорить с ним, но наш долг судить его, а не прощать. Что же касается его тогдашней позиции и моего мнения о ней, я, вместо ответа, которого он от меня ждал, деликатно привел два известных мне случая, когда немцы, его коллеги, не побоялись сделать для нас куда больше, чем сделал (по его утверждению) он. Я признавал, что не все родятся героями и что мир, в котором все были бы такими, как он, то есть порядочными и безоружными, был бы толерантным, но абсолютно нереальным миром. В реальном мире существуют люди с оружием, они строят Освенцим, а порядочные и

безоружные прокладывают им путь. Поэтому за Освенцим должен отвечать не только каждый немец, но каждый человек вообще, и после Освенцима оставаться безоружным недопустимо. О встрече на Ривьере я в письме умолчал.

Тем же вечером Мюллер позвонил мне из Германии. Воспринимать немецкий на слух мне затруднительно, да и слышимость была плохая; его голос звучал напряженно, казалось, от волнения у него перехватывает дыхание. Он сообщил, что на Троицын день (до которого было еще шесть недель) приедет в Финале Лигуре; не могли бы мы там с ним встретиться? Вопрос застал меня врасплох, и я ответил утвердительно, только попросил ближе к делу подтвердить свой приезд и отложил в сторону почти законченное и уже ненужное письмо.

Восемь дней спустя я получил от госпожи Мюллер извещение, что ее муж, доктор Лотар Мюллер, скоропостижно скончался на шестьдесят первом году жизни.

УГЛЕРОД

Читатель, должно быть, давно заметил, что перед ним не научный труд по химии: не настолько уж я самоуверен, чтобы браться за подобные дела, тем более что *«ma voix est foible, et même un peu profane»**. Это и не автобиография, если не считать автобиографическим в той или иной степени любое сочинение, более того, любое человеческое деяние. Скорее всего, можно сказать, что это — история. Или, если хотите, микроистория, история одной профессии и связанных с ней поражений, лишений и побед, потребность рассказать о которых возникает тогда, когда человек начинает сомневаться, что искусство вечно, и осознает, что его карьера завершает круг. Достигнув такого момента в жизни, этот человек, если он — химик, наверняка вспомнит при взгляде на Периодическую систему химических элементов Менделеева или на таблицы Ландольта и Бейльштейна о трагических обломках или победных тро-

* Мой голос слаб, отчасти это голос профана (фр.).

феях своего профессионального прошлого. Ему достаточно перелистать любое пособие, любую научную работу, чтобы нахлынули воспоминания: кто-то неразрывно связал свою судьбу с бромом, кто-то — с пропиленом, кто-то — с группой NCO или с глютаминовой кислотой. Каждый студент химического факультета, беря в руки тот или иной учебник, должен понимать, что на одной из его страниц, возможно, всего на одной строчке или даже в одном-единственном слове, в одной формуле заключено его будущее, прочесть которое ему пока не дано: оно прояснится *потом* — после удачи или неудачи, победы или поражения; а каждый уже не молодой химик, открывая «*verhängnisvoll*»* тот же самый учебник, испытает прилив любви или отвращения, радость или отчаяние.

Таким образом, каждый элемент кому-то что-то говорит (всем — разное), вызывает определенные ассоциации, как горы или морской берег, где человек побывал в юности. Исключение можно сделать, пожалуй, лишь для углерода, который всем говорит одно и то же и, следовательно, является не специфическим, а всеобщим, как наш всеобщий предок Адам. Впрочем, возможно (почему бы нет?), существуют сегодня химики-столпники, посвятившие всю свою жизнь графиту или алмазам. Я же в долгу перед

* Здесь: наугад (нем.).

углеродом, и долг этот возник давно, в решающие для меня дни. К углероду, элементу жизни, были обращены мои первые литературные помыслы, настойчиво заявившие о себе в те времена и в тех обстоятельствах, когда жизнь моя стоила немного. Так вот, тогда мне захотелось рассказать историю одного атома углерода.

Допустимо ли говорить об *одном* атоме углерода? У химика на этот счет должны возникнуть определенные сомнения, потому что на сегодняшний день (в тысяча девятьсот семидесятом году) еще не известны способы, позволяющие увидеть, а значит, выделить единичный атом углерода; что же касается автора этой книги, у него на сей счет никаких сомнений не возникает, что дает ему право приступить к рассказу.

Итак, наш герой, связанный с тремя атомами кислорода и одним атомом кальция, вот уже сотни миллионов лет обитает в известковых скалах. За спиной у него долгое космическое прошлое, но мы его опустим. Время для него не существует, а если и существует, то лишь в форме температурных изменений, дневных или сезонных, причем только в случае, если, к счастью для нашего повествования, он залегает неглубоко от поверхности. Его монотонное существование, о котором нельзя думать без содрогания, — это безжалостное чередование жары и холода, температурные колебания (с неизменной час-

тотой и чуть менее или чуть более широкой амплитудой); живым его можно назвать лишь условно; его плен достоин сравнения с католическим адом. Ему все еще пока соответствует настоящее время, время рассказа, а не прошедшее, время рассказчика. Он вмерз в вечное настоящее, на котором умеренные тепловые колебания почти не оставляют следа.

Но к счастью для рассказчика, известковый пласт, в котором обитает наш атом, лежит на поверхности, иначе и рассказывать бы было не о чем. Обитает он в пределах досягаемости человека с киркой (да здравствуют кирка и ее более современные модификации; они и по сей день главные посредники в тысячелетнем диалоге химических элементов с человеком). В секунду, которую я, рассказчик, волен отнести к любому, хоть к тысяча восемьсот сороковому году, удар кирки отколол атом углерода и отправил в печь для обжига известняка. Оказавшись в мире меняющихся вещей, он поджаривался до тех пор, пока не отделился от атома кальция, продолжавшего, как говорится, твердо стоять на ногах, и двинулся навстречу своей судьбе. Крепко вцепившись в двух из трех своих прежних товарищей (мы имеем в виду атомы кислорода), он вышел через трубу и присоединился к воздуху. Неподвижное существование сменилось подвижным.

Его подхватил ветер, бросил оземь, поднял на высоту десяти километров. Его вдохнул сокол, и он про-

валился в соколиные легкие, но проникнуть в густую кровь не сумел и был извергнут. Трижды он терялся в море, один раз — в бурном ручье, но также был извергнут. Восемь лет странствовал вместе с ветром: поднимался ввысь, парил над морем, нырял в облака, проносился над лесами, пустыням и ледяными просторами, пока не был пойман и вовлечен в органический процесс.

Углерод — особый элемент, единственный, способный соединяться сам с собой и образовывать без большого расхода энергии длинные устойчивые цепи, а для жизни на Земле (той единственной формы жизни, которая нам известна) нужны как раз длинные цепи. Потому-то углерод и является ключевым элементом в создании жизни. Но его вхождение в живой мир легким не назовешь; путь этот невероятно длинен, извилист и лишь в последние годы (да и то не до конца) изучен. И в самом деле, разве это не настоящее чудо, что вокруг нас, везде, где из почки рождается зеленый лист, постоянно происходит образование углерода, в неделю — миллиарды тонн?

Итак, атом, о котором мы говорим, в компании со своими постоянными спутниками, удерживающими его в газообразном состоянии, проносился с ветром в тысяча восемьсот сорок восьмом году вдоль виноградных шпалер, и ему посчастливилось зацепиться за один из листьев, проникнуть внутрь его и остаться там, пригвожденным лучом солнца. Если в этом мес-

те мой язык становится излишне метафоричным и неточным, виной тому не только моя беспомощность; эта синхронная работа троих (двуокиси углерода, света и растительной зелени), которую мы вправе назвать решающим событием, до сих пор не описана терминологически точно (и не известно, когда еще будет описана), настолько она не похожа ни на один процесс «органической химии» — науки, возникшей в результате кропотливой и трудоемкой работы человека. Тем не менее это тоже химия, тонкая и стройная, и создана она была два или три миллиарда лет тому назад нашими бессловесными братьями-растениями, которые не способны ни экспериментировать, ни дискутировать и температура которых идентична температуре их среды обитания. Если понять — значит представить себе, то мы никогда не поймем, потому что не в состоянии представить себе «*happening*»*, происходящий на территории размером в одну миллионную миллиметра в течение одной миллионной секунды, действующие лица которого остаются невидимыми. Все словесные описания, лишь варьируя друг друга, будут приблизительными, в том числе и нижеследующее.

Углерод проникает внутрь листа, сталкиваясь там с множеством других (в данном случае бесполезных) молекул углерода и кислорода, присоединяется к

* Событие (англ.).

большой и сложной молекуле, благодаря которой активизируется и одновременно получает важнейшее послание небес в виде сверкающего пучка солнечных лучей, после чего в одно мгновение, как насекомое в лапах паука, лишается кислорода и соединяется с водородом, а также (есть такая версия) с фосфором, включаясь в цепь жизни (не важно, длинную или короткую). Все это происходит быстро, бесшумно, при атмосферных температурах и давлении, а главное — безвозмездно. Когда мы, дорогие коллеги, научимся вести себя так же, то станем «*sicut Deus*»* и заодно решим проблему голода на Земле.

Но есть кое-что еще, о чем следует сказать. Двуокись углерода (газообразная форма углерода, о которой у нас идет речь), первооснова жизни, главный ее элемент, неизменный спутник всего растущего и последняя точка в судьбе всякой плоти, так вот, этот газ, называемый углекислым, — вовсе не главный, и даже не один из главных компонентов воздуха, а всего лишь смехотворная в количественном отношении примесь, «нечистота», которой в воздухе в тридцать раз меньше незаметного аргона, а именно 0,03 процента. Если бы Италия была воздухом, то число итальянцев, способных создавать жизнь, равнялось бы, скажем, числу жителей Милаццо — сицилийского городка неподалеку от Мессины с пятнад-

* Равными Богу (лат.).

цатитысячным населением. По нашим меркам — это мелочь, пустяк, ерунда, фокус-покус, необъяснимая демонстрация всемогущества на том основании, что из этой постоянно обновляемой нечистоты воздуха появляемся мы; мы — растения, мы — животные и мы — человеческий вид с тысячами и тысячами лет нашей истории, с нашими войнами и поражениями, благородством и гордостью, четырьмя миллиардами разных мнений. А в масштабах планеты наше собственное присутствие здесь выглядит смешно: если бы всю человеческую массу, суммарный вес которой составляет примерно двести пятьдесят миллионов тонн, равномерно размазать по поверхности всей суши, толщина полученного в результате слоя составила бы около шестнадцати тысячных миллиметра, так что увидеть человека «во весь рост» было бы просто невозможно.

Итак, наш атом задействован; он — часть конструкции, говоря языком архитекторов, он связан и породнен с пятью товарищами, настолько на него похожими, что только допустимый в рассказе вымысел позволяет мне отличать их друг от друга. Конструкция красивой замкнутой в кольцо формы, почти правильный шестиугольник, которому приходится вступать в сложные равновесные обменные процессы с водой, в которой он теперь растворен. Да, теперь он растворен в воде, вернее, в лимфе виноградной лозы, а быть растворенным — долг и привилегия

всех веществ, чье призвание (я чуть не сказал «желание») — постоянные превращения. Если кто-то захочет узнать, почему шестиугольник, почему замкнутой формы, почему растворяется в воде, я отвечу, чтобы его успокоить: это один из немногих вопросов, на который у науки есть четкий, всем понятный ответ, но здесь мы его приводить не будем.

Чтобы внести некоторую ясность, скажем лишь, что наш атом стал составной частью молекулы глюкозы. Его предназначение — промежуточное, переходное — сделать первый шаг навстречу животному миру, но на более ответственную работу, на участие в строительстве белкового здания, ему права не дано. Вместе с растительными соками он движется от листа по черешку к стеблю, от стебля — к стволу, от ствола — к зреющей виноградной грозди. То, что происходит потом, относится к компетенции виноделов; наша задача — лишь убедиться, что сам он избежал брожения (к счастью, потому что мы не смогли бы описать этот процесс) и, не изменив своей природы, дошел до стадии вина.

Предназначение вина — быть выпитым; предназначение глюкозы — сгореть. Но не сразу: выпивший вина хранит ее больше недели в печени, где она, свернувшись колечком, дожидается момента, когда потребуется восполнить непредвиденный расход физической энергии обладателя печени, например, если ему придется гнаться за испуганной лошастью.

Прощай тогда, шестиконечная структура! Всего несколько секунд — и колечко разламывается, вновь превращается в глюкозу, которую поток крови доносит до мышечных волокон бедра; здесь она делится на две молекулы молочной кислоты, печальных вестников физических усилий, и лишь несколько минут спустя задыхающимся легким удаётся заполучить необходимый для их сжигания кислород. Таким образом, новая молекула двуокиси углерода возвращается в атмосферу, и частица той энергии, что солнце уступило лозе, переходит из химического состояния в механическое, а из него — в тепловое, разогревая колеблемый бегуном воздух и кровь самого бегуна. Соединяться, изменяться, извлекать выгоду из изменений, использовать для себя энергию, начиная с ее благородной солнечной формы и кончая тепловой, постепенно охлаждающейся до низких температур, — в этом состоит жизнь, хотя о ней редко говорят или пишут подобным образом. На этом дугообразном пути вниз, к уравнивающей ее смерти, жизнь вьет свое гнездо.

И вот мы снова превратились в двуокись углерода, в углекислый газ, за что просим у вас прощения; но это неизбежность: другого пути, другого варианта здесь, на Земле, не существует. И снова ветер поднимает наш атом в воздух, унося его на этот раз далеко — через Апеннины и Адриатику, через Грецию, Эгейское море и Крит в Ливан, где все повторяется

сначала. Атом, который нас интересует, попадает внутрь структуры, обещающей оказаться более прочной. Это ствол достопочтенного кедра, одного из последних в своем роде; атом снова проходит все, уже описанные нами, стадии, а глюкоза, в которую он включен, становится в свою очередь звеном длинной целлюлозной цепи, как бусина — четок. Теперь речь уже идет не об обманчивой твердости скал, не о миллионах лет, но все же о веках, ведь кедр — долгожитель среди деревьев. В нашей воле оставить его на год или на пятьсот лет, только надо помнить, что через два десятилетия (сейчас мы в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году) им заинтересуется прожорливый древесный червь, который с тупым упрямством станет рыть туннель между стволом и корой. Продвигаясь вперед, он будет расти, и туннель будет расширяться. Этот червь становится олицетворением или воплощением нашей истории: из куколки он превращается в безобразную серую бабочку, которая весной сушит на солнце свои крылья, оглушенная и ослепленная великолепием дня. Атом здесь, в одном из тысяч глаз насекомого; он помогает ему с помощью его примитивного зрения ориентироваться в пространстве. Насекомое оплодотворяется, кладет яйца и умирает; крошечный трупик лежит на лесной земле, и вскоре от него остается лишь хитиновая оболочка, которая почти не подвержена разложению и может сохраняться долго. Снег и солнце, череду-

ясь, не причиняют ей никакого вреда; укрывая перегноем и палой листвой, она превращается в «останки», в «ничто», смерть же атома (в отличие от нашей) никогда не бывает окончательной. Потому что берутся за дело вездесущие, неутомимые, невидимые лесные могильщики — микроорганизмы, создающие гумус. Оболочка со своими слепыми глазами постепенно распадается, атом бывшего любителя выпить, бывшего кедра, бывшего древесного червя освобождается и вновь отправляется в полет.

Позволим ему трижды облететь вокруг света, после чего окажемся в тысяча девятьсот шестидесятом году, знаменующем окончание этого по человеческим меркам длинного, а по имеющимся данным о двухсотлетнем круговороте атома углерода в природе — слишком короткого временного периода. Считается, что каждый атом углерода, не застрявший в известняке, каменном угле или алмазе, а также в некоторых видах пластмасс, раз в двести лет включается в жизненный цикл, входя через узкую дверь фотосинтеза. Есть ли другие двери? Есть, это некоторые формы синтеза, созданные *Homo faber* (человеком производящим), что делает ему честь, но в количественном отношении влияние этих синтезов ничтожно, так что эти двери еще уже. Осознанно или неосознанно, но человек до сих пор не пытался конкурировать в этой сфере с природой, иначе говоря, не пытался добывать из двуокиси углерода, при-

сутствующей в воздухе, углерод, способный его, человека, насытить, одеть, согреть и удовлетворить еще сотню других мудреных потребностей, возникших в современной жизни. Не пытался потому, что в этом не было нужды: он находил и до сих пор находит (сколько десятилетий еще это будет продолжаться?) гигантские запасы восстановленного или органически переработанного углерода. Кроме растительного и животного мира, пополняющего эти запасы, углерод содержат также залежи каменного угля и нефтяные месторождения, что тоже является результатом фотосинтеза, происходившего в незапамятные времена; таким образом, можно с уверенностью утверждать, что фотосинтез — не только единственная возможность вызвать к жизни углерод, но и единственный химический способ переработки солнечной энергии.

Не трудно доказать, что эта от начала до конца выдуманная история — история правдивая. Я могу рассказать еще бесчисленное количество всяких историй, и они тоже будут правдивы во всем, что касается законов и превращений природы, а также временных границ. Число атомов так велико, что всегда найдется один, чья истинная история обязательно совпадет с вымышленной. Я мог бы бесконечно рассказывать истории об атомах углерода — таких, которые имеют цвет и аромат цветов или перемещаются из крошечных водорослей в рачков, из рачков — в

рыб, от маленьких до больших и очень больших, чтобы, совершая постоянный, зловещий круговорот жизни и смерти, в котором заглотнувший добычу сегодня сам станет чьей-то добычей завтра, возвратится в морскую воду в виде двуокси углерода. Мог бы я рассказать и о других атомах, тех, что достигли высокого положения, даже почти бессмертия на пожелтевших страницах древних документов или на полотнах знаменитых мастеров, или тех, кому повезло стать пыльцой цветущего злака, оставившего, к нашему восторгу, свой окаменевший отпечаток на скале; или о тех таинственных посланцах, которые не стесняясь своей роли, роли человеческого семени, участвуют в деликатном процессе слияния, деления и дублирования, в результате чего все мы появляемся на свет. Вместо всего этого я расскажу еще только одну, самую таинственную историю, расскажу осторожно, без особой уверенности, потому что знаю наперед, что тема эта — необъятна, средства выражения — бессильны, и вообще, облекать факты в форму слов — занятие бесперспективное.

И он опять с нами, в стакане молока. Он — часть длинной, очень сложной цепи, построенной таким образом, что почти все ее звенья могут взаимодействовать с человеческим телом. Но вот молоко выпито; и, поскольку всякая жизненная структура таит в себе дикое недоверие к любому вмешательству чужой жизненной структуры, цепь непременно расколется,

Примо Леви

и осколки, один за другим, либо будут поглощены, либо исторгнутся. Один атом, самый для нас ценный, из кишечника проникает в кровяной поток. Он движется, стучится в дверь нервной клетки, вытесняет оттуда другие атомы углерода и занимает их место. Эта нервная клетка — клетка мозга, моего мозга, мозга человека, который пишет все это. И клетка, о которой идет речь, и атом, о котором идет речь, отвечают за мое писание в гигантской микроскопической игре, которую никто пока не сумел описать. Это та самая клетка, которая в данную минуту, вырвавшись из спутанного клубка «да» и «нет», дает добро моей руке двигаться в нужном направлении и в определенном ритме по бумаге, заполняя ее закорючками, которые являются смысловыми знаками; она ведет мою руку и принуждает ее ставить точку. Точку в конце этой книги.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аргон. Пер. Е. Дмитриевой	7
Водород. Пер. Е. Дмитриевой	34
Цинк. Пер. Е. Дмитриевой	45
Железо. Пер. Е. Дмитриевой	57
Калий. Пер. Е. Дмитриевой	76
Никель. Пер. Е. Дмитриевой	94
Свинец. Пер. Е. Дмитриевой	121
Ртуть. Пер. Е. Дмитриевой	143
Фосфор. Пер. Е. Дмитриевой	161
Золото. Пер. Е. Дмитриевой	188
Церий. Пер. Е. Дмитриевой	206
Хром. Пер. И. Шубиной	218
Сера. Пер. Е. Дмитриевой	238
Титан. Пер. Е. Дмитриевой	244
Мышьяк. Пер. Е. Дмитриевой	248
Азот. Пер. И. Шубиной	257
Олово. Пер. Е. Дмитриевой	271
Уран. Пер. Е. Дмитриевой	281
Серебро. Пер. И. Шубиной	294
Ванадий. Пер. Е. Дмитриевой	311
Углерод. Пер. Е. Дмитриевой	332

Леви П.
Л 36 Периодическая система / П. Леви: Пер. с ит.
Е. Дмитриевой и И. Шубиной. — М.: Текст, 2008. —
347, [5] с.

ISBN 978-5-7516-0663-9

«Периодическая система», как и уже выходившие в России книги «Человек ли это?» («Текст», 2001) и «Передышка» («Текст», 2002), принесли итальянскому писателю Примо Леви (1919—1987) всемирную известность. Химик по образованию, он назвал рассказы по именам элементов Периодической системы Менделеева. Начав со своих предков — евреев, обосновавшихся в Италии в XVI веке, он вспоминает семейные предания, студенческие годы и страшные дни, проведенные в Освенциме. Это история молодого человека, выходца из пьемонтской еврейской среды, трагическую судьбу которого определили чудовищные события минувшего века.

УДК 821.131.1
ББК 84(4Шва)

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
Примо ЛЕВИ
Периодическая система

Редактор Л. Тарасова
Корректоры Н. Пущина, Т. Калинина

Издательство благодарит Давида Розенсона
за участие в разработке этой серии

Подписано в печать 30.10.07. Формат 70 x 100/32.
Усл. печ. л. 14,19. Уч.-изд. л. 12,39. Тираж 5000 экз. Изд. № 717
Заказ № 2061.

Издательство «Текст»
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (495) 150-04-82
E-mail: textpubl@yandex.ru
<http://www.textpubl.ru>

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа

**В СЕРИИ
ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
ВЫШЛИ:**

**Аарон АППЕЛЬФЕЛЬД. Катерина
БЕЛАЯ ШЛЯПА БЛЯЙШИЦА. Сборник
рассказов**

Сол БЕЛЛОУ. Серебряное блюдо

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Бердичев

Давид ГРОССМАН. См. статью «Любовь»

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Папин домашний суд

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Раб

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Раскаявшийся

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Семья Мускат

Дина КАЛИНОВСКАЯ. О суббота!

**Даниэль КАЦ. Как мой прадедушка на лыжах
прибежал в Финляндию**

Имре КЕРТЕС. Без судьбы

КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА.

Рассказы израильских писателей

Артур МИЛЛЕР. Фокус

Мордехай РИХЛЕР. Улица

Говард ФАСТ. Торквемада

Меир ШАЛЕВ. Русский роман

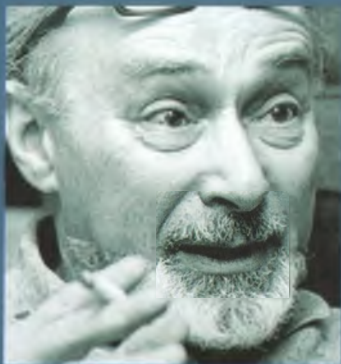
Меир ШАЛЕВ. Эсав

Лесли ЭПСТАЙН. Сан-Ремо-Драйв



ЕВРЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ И ТЕМЫ

Об этих и других книгах, о новинках и классике,
об актуальных событиях и вечных вопросах —
рецензии, статьи, анонсы и проекты на сайте
www.booknik.ru



ЛЕНИНГРАДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

מרכז אולי
שחא



“Периодическая система”, как и вышедшие в России книги “Человек ли это?” и “Передышка”, принесли итальянскому писателю Primo Levi (1919–1987) всемирную известность. Химик по образованию, он дал рассказам имена элементов таблицы Менделеева. Начав со своих предков–евреев, обосновавшихся в Италии в XVI веке, Levi вспоминает семейные предания, студенческие годы, страшные дни, проведенные в Освенциме. Это история молодого человека, трагическую судьбу которого определили чудовищные события минувшего века.



проза еврейской жизни



www.sputnik-books.com

Примо Леви ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



Примо Леви ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



проза еврейской жизни